



И. С. АКСАКОВ

Федор Иванович Тютчев

Биографический очерк

Небольшая книжка стихотворений; несколько статей по вопросам современной истории; стихотворения, из которых только очень немногим досталась на долю всеобщая известность; статьи, которые все были писаны по-французски, лет двадцать, даже тридцать тому назад, печатались где-то за границей и только недавно, вместе с переводом, стали появляться в одном из наших журналов... Вот покуда все, что может русская библиография занести в свой точный *синодик* под рубрику: «Ф. И. Тютчев, род. 1803 — † 1873 г.». Литературный послужной список не объемист; имя малознаемое в массах грамотной — и не только грамотной, даже образованной нашей публики... А между тем этим самым стихотворениям, еще с начала пятидесятих годов, отводится русской критикой место чуть ли не наряду с пушкинскими¹; это самое имя, в течение целой четверти века, во всех светских и литературных кругах Москвы и Петербурга читается и славится, знаменуя собою мысль, поэзию, остроумие в самом изящном соединении. Странное противоречие, не правда ли? Как объяснить этот недостаток популярности при несомненном общественном значении? эту несоразмерность внешнего объема литературной деятельности с обнаруженной автором силой дарований? Но и здесь еще не конец недоумениям, нередко возбуждаемым именем Тютчева. Ко всем единодушным отзывам нашей периодической печати об его уме и таланте, раздавшимся вслед за его кончиной вместе с выражениями искренней скорби, мы позволим себе прибавить еще и свой: Тютчев был не только самобытный, глубокий мыслитель, не только своеобразный, истинный художник-поэт, но и один из малого числа носителей, даже двигателей нашего русского, народного самосознания.

«Как? — скажут многие, встречавшие Тютчева на петербургских балах и раутах, — этот почти — иностранец, едва ли когда говоривший иначе как по-французски; это, по-видимому, чистокровное порождение европеизма, без всякого на себе клейма какой-либо национальности, — Тютчев, в котором все, до последнего сустава и нерва, дышало прелестью высшей, всесторонней, нерусской культуры, Тютчев, — один из представителей русской народности?! Трудно мирится такое тяжеловесное предположение с грациозным образом этого очаровательно-умного, но вполне светского собеседника. Можно ли, позволительно ли возводить его чуть не на степень серьезного общественно-го деятеля?»

Он и не деятель и в общепринятом смысле этого слова. Он просто — явление, явление общественное и личное, в высшей степени замечательное и любопытное для изучения. Его деятельность, почти непосредственная, сливается с самим его бытием. Вполне естественны, вполне понятны для нас все помянутые выше недоумения. Именно в виду их мы и считаем нужным представить читателям не одну общую оценку литературных останков покойного Тютчева (что отчасти уже было сделано и другими), но самую судьбу, личную и внутреннюю, этого русского таланта. Участь талантов у нас на Руси — вообще предмет высокого интереса и важности для истории русского просвещения, тем более, когда дело идет о таком богатстве даров, каким был наделен Тютчев... Проследить, по возможности, самое развитие этой многоодаренной природы, — соотношение ее особенных психических условий с условиями бытовыми, общественными, историческими; ту взаимную их связь и зависимость, которая создала, определила и ограничила ее жизненный жребий — вот задача, которую мы постараемся разрешить, насколько сумеем, в нашем биографическом очерке.

Первой биографической чертой в жизни Тютчева, и очень характерной, сразу бросающейся в глаза, представляется невозможность составить его полную, подробную биографию. Для большинства писателей, — как бы умеренно они себя ни ценили, — потомство, по выражению Чичикова, все же «чувствительный предмет». Многие, еще при жизни, заранее облегчают труд своих будущих биографов подбором материалов, подготовлением объяснительных записок. Тютчев — наоборот. Он не только не хлопотал никогда о славе между потомками, но не дорожил ею и между современниками; не только не помышлял о своем будущем жизнеописании, но даже ни разу не позабо-

тился о составлении верного списка или хотя бы перечня своих сочинений. Если стихи его увидели свет, так только благодаря случайному, постороннему вмешательству; в появлении их в печати бывали пропуски в пять и в четырнадцать лет, хотя в поэтическом его творчестве и не было перерыва. Самая известность его как поэта начинается собственно с 1854 года, т<о> е<сть> когда ему пошел уже шестой десяток лет, именно со времени первого издания его стихотворений редакцией журнала «Современник»² при содействии И. С. Тургенева. Во сколько такое пренебрежение к своей авторской личности происходило у Тютчева от врожденной ему беспечности и лени, во столько же, если не более, от особого рода скромности, смирения и от иных нравственных причин, которые мы обстоятельно разъясним ниже. Здесь же мы только наперед заявляем о затруднениях, встречаемых его биографом именно потому, что Тютчев никогда ни сам не занимался, ни занимал и других собственной особой. Никогда ни к кому не навязывался он с чтением своих произведений, напротив, очевидно, тяготился всякой об них речью. Никогда не повествовал о себе, никогда не рассказывал сам о себе анекдотов, и даже под старость, которая так охотно отдается воспоминаниям, никогда не беседовал о своем личном прошлом. А так как с лишком двадцать два года этого прошлого проведены им были на чужбине, то большая часть самых интересных подробностей его существования для нас безвозвратно потеряна. Однако ж, несмотря на скудость внешнего биографического материала, мы все же в состоянии наметить — и наметим сейчас — те наружные биографические рамки, внутри которых совершалось самовоспитание его таланта, вообще его внутренняя духовная жизнь, а только она и заслуживает вполне серьезного, общественного внимания.

I

Федор Иванович был второй, или меньший, сын Ивана Николаевича и Екатерины Львовны Тютчевых и родился в 1803 г. 23 ноября, в родовом тютчевском имении, селе Овстуг Орловской губернии Брянского уезда. Тютчевы принадлежали к старинному русскому дворянству. Хотя в родословной и не показано, откуда «выехал» их первый родоначальник, но семейное предание выводит его из Италии, где, говорят, и поныне, именно во Флоренции, между купеческими домами встречается фамилия Dudgi. В Никоновской летописи упоминается «хитрый

муж» Захар Тутчев, которого Дмитрий Донской, пред началом Куликовского побоища, подсылал к Мамаю со множеством золота и двумя переводчиками для собрания нужных сведений, — что «хитрый муж» и исполнил очень удачно. В числе воевод Иоанна III, усмирявших Псков, называется также «воевода Борис Тютчев Слепой» *. С тех пор никто из Тютчевых не занимал видного места в русской истории ни на каком поприще деятельности. Напротив, в половине XVIII века, если верить запискам Добрынина³, брянские помещики Тютчевы славились лишь разгулом и произволом, доходившими до неистовства. Однако же отец Федора Ивановича, Иван Николаевич, не только не наследовал этих семейных свойств, но, напротив, отличался необыкновенным благодушием, мягкостью, редкой чистотой нравов и пользовался всеобщим уважением. Окончив свое образование в Петербурге, в Греческом корпусе, основанном Екатериной в ознаменование рождения великого князя Константина Павловича и под влиянием мысли о «Греческом проекте»⁴, Иван Николаевич дослужился в гвардии до поручика и на 22-м году жизни женился на Екатерине Львовне Толстой, которая была воспитана, как дочь, родной своей теткой, графиней Остерман. Затем Тютчевы поселились в орловской деревне, на зиму переезжали в Москву, где имели собственные дома и подмосковную, — одним словом, зажили тем известным образом жизни, которым жилось тогда так привольно и мирно почти всему русскому зажиточному, досужему дворянству, не принадлежавшему к чиновной аристократии и не озабоченному государственной службой. Не выделяясь ничем из общего типа московских боярских домов того времени, дом Тютчевых — открытый, гостеприимный, охотно посещаемый многочисленной родней и московским светом — был совершенно чужд интересам литературным, и в особенности русской литературы. Радужный и щедрый хозяин был, конечно, человек рассудительный, с спокойным, здравым взглядом на вещи, но не обладал ни ярким умом, ни талантами. Тем не менее в натуре его не было никакой узкости, и он всегда был готов признать и уважить права чужой, более даровитой природы. <...>

Федор Иванович Тютчев и по внешнему виду (он был очень худ и малого роста), и по внутреннему духовному строю был совершенной противоположностью своему отцу; общего у них было разве одно благодушие. Зато он чрезвычайно походил на свою мать, Екатерину Львовну, женщину замечательного ума,

* Карамзин. Т. V, примеч. 65; Т. VI, примеч. 37.

сухощавого, нервного сложения, с склонностью к ипохондрии, с фантазией, развитой до болезненности. Отчасти по принятому тогда в светском кругу обыкновению, отчасти, может быть, благодаря воспитанию Екатерины Львовны в доме графини Остерман, в этом, вполне русском, семействе Тютчевых преобладал и почти исключительно господствовал французский язык, так что не только все разговоры, но и вся переписка родителей с детьми и детей между собой, как в ту пору, так и потом, в течение всей жизни, велась не иначе как по-французски. Это господство французской речи не исключало, однако, у Екатерины Львовны приверженности к русским обычаям и удивительным образом уживалось рядом с церковнославянским чтением псалтырей, часословов, молитвенников у себя, в спальней, и вообще со всеми особенностями русского православного и дворянского быта. Явление, впрочем, очень нередкое в то время, в конце XVIII и в самом начале XIX века, когда русский литературный язык был еще делом довольно новым, еще только достоянием «любителей словесности», да и действительно не был еще достаточно приспособлен и выработан для выражения всех потребностей перенятого у Европы общежития и знания. <...>

В этой-то семье родился Федор Иванович. С самых первых лет он оказался в ней каким-то особняком, с признаками высших дарований, а потому тотчас же сделался любимцем и баловнем бабушки Остерман, матери и всех окружающих. Это баловство, без сомнения, отразилось впоследствии на образовании его характера: еще с детства стал он врагом всякого принуждения, всякого напряжения воли и тяжелой работы. К счастью, ребенок был чрезвычайно добросердечен, кроткого, ласкового нрава, чужд всяких грубых склонностей; все свойства и проявления его детской природы были скрашены какой-то особенно тонкой, изящной духовностью. Благодаря своим удивительным способностям, учился он необыкновенно успешно. Но уже и тогда нельзя было не заметить, что учение не было для него трудом, а как бы удовлетворением естественной потребности знания. В этом отношении баловницей Тютчева являлась сама его талантливость. Скажем, кстати, что ничто вообще так не балует и не губит людей в России, как именно эта талантливость, упраздняющая необходимость усилий и не дающая укорениться привычке к упорному, последовательному труду. Конечно, эта даровитость нуждается в высшем, соответственном воспитании воли, но внешние условия нашего домашнего быта и общественной среды не всегда благоприятствуют такому воспитанию; особенно же мало благоприятствовали они при той

материальной обеспеченности, которая была уделом образованного класса в России во времена крепостного права. Впрочем, в настоящем случае мы имеем дело не просто с человеком талантливым, но и с исключительной натурой — натурой поэта.

Ему было почти девять лет, когда настала гроза 1812 года. Родители Тютчева провели все это тревожное время в безопасном убежище, именно в г. Ярославле; но раскаты грома были так сильны, подъем духа так повсеместен, что даже вдали от театра войны не только взрослые, но и дети, в своей мере, конечно, жили общей возбужденной жизнью. Нам никогда не случилось слышать от Тютчева никаких воспоминаний об этой године, но не могла же она не оказать сильного непосредственного действия на восприимчивую душу девятилетнего мальчика. Напротив, она-то, вероятно, и способствовала, по крайней мере в немалой степени, его преждевременному развитию, — что, впрочем, можно подметить почти во всем детском поколении той эпохи. Не эти ли впечатления детства как в Тютчеве, так и во всех его сверстниках-поэтах зажгли ту упорную, пламенную любовь к России, которая дышит в их поэзии и которую потом уже никакие житейские обстоятельства не были властны угасить?

К чести родителей Тютчева надобно сказать, что они ничего не щадили для образования своего сына и по десятому его году, немедленно «после французов», пригласили к нему воспитателем Семена Егоровича Раича⁵. Выбор был самый удачный. Человек ученый и вместе вполне литературный, отличный знаток классической древней и иностранной словесности, Раич стал известен в нашей литературе переводами в стихах Вергилиевых «Георгик», Тассова «Освобожденного Иерусалима» и Ариостовой поэмы «Неистовый Орланд». В доме Тютчевых он пробыл семь лет; там одновременно трудился он над переводами латинских и итальянских поэтов и над воспитанием будущего русского поэта. Кроме того, он сам писал недурные стихи. В двадцатых годах, — уже после того, как Раич из дома Тютчевых перешел к Николаю Николаевичу Муравьеву, основателю знаменитого Училища колонновожатых, для воспитания меньшего его сына, известного впоследствии писателя Андрея Николаевича Муравьева, — сделался центром особенного литературного кружка, где собирались Одоевский, Погодин, Ознобишин, Путята и другие замечательные молодые люди, при содействии которых Раич и издал несколько альманахов. Позднее он же два раза принимался издавать журнал «Галатею»⁶. Это был человек в высшей степени оригинальный, бескорыстный, чистый,

вечно пребывавший в мире идиллических мечтаний, сам олицетворенная буколика, соединявший солидность ученого с каким-то девственным поэтическим пылом и младенческим незлобием. Он происходил из духовного звания; известный киевский митрополит Филарет был ему родной брат.

Нечего и говорить, что Раич имел большое влияние на умственное и нравственное сложение своего питомца и утвердил в нем литературное направление. Под его руководством Тютчев превосходно овладел классиками и сохранил это знание на всю жизнь: даже в предсмертной болезни, разбитому параличом, ему случалось приводить на память целые строки из римских историков. Ученик скоро стал гордостью учителя и уже 14-ти лет перевел очень порядочными стихами послание Горация к Меценату. Раич, как член основанного в 1811 году в Москве Общества любителей российской словесности, не замедлил представить этот перевод Обществу, где, на одном из обыкновенных заседаний, он был одобрен и прочтен вслух славнейшим в то время московским критическим авторитетом — Мерзляковым⁷. Вслед за тем, в чрезвычайном заседании 30 марта 1818 года, Общество почтило 14-летнего переводчика званием «сотрудника», самый же перевод напечатало в XIV части своих «Трудов». Это было великим торжеством для семейства Тютчевых и для самого юного поэта. Едва ли, впрочем, первый литературный успех не был и последним, вызвавшим в нем чувство некоторого авторского тщеславия.

В этом же 1818 году Тютчев поступил в Московский университет, т<о> е<сть> стал ездить на университетские лекции и сперва — в сопровождении Раича, который, впрочем, вскоре, именно в начале 1819 года, расстался со своим воспитанником.
<...>

Со вступлением Тютчева в университет дом его родителей увидел у себя новых, небывалых в нем доселе посетителей. Радужно принимались и угощались стариками и знаменитый Мерзляков, и преподаватель греческой словесности в университете Оболенский, и многие другие ученые и литераторы: собеседником их был 15-летний студент, который смотрел уже совершенно «развитым» молодым человеком и с которым все охотно вступали в серьезные разговоры и прения. Так продолжалось до 1821 года.

В этом году, когда Тютчеву не было еще и 18-ти лет, он сдал отлично свой последний экзамен и получил кандидатскую степень. По всем соображениям родных и знакомых, перед ним открывалась блестящая карьера. Но честолюбивые виды отца

и матери мало тревожили душу беспечного кандидата. Предоставив решение своей будущей судьбы старшим, сам он весь отдался своему настоящему. Жаркий поклонник женской красоты, он охотно посещал светское общество и пользовался там успехом. Но ничего похожего на буйство и разгул не осталось в памяти об нем у людей, знавших его в эту первую пору молодости. Да буйство и разгул и не свойственны были его природе: для него имели цену только те наслаждения, где было место искреннему чувству или страстному поэтическому увлечению. Не осталось также, за это время, никаких следов его стихотворческой деятельности: домашние знали, что он иногда забавлялся писанием остроумных стишков на разные мелкие случаи, — и только.

В 1822 году Тютчев был отправлен в Петербург, на службу в Государственную коллегия иностранных дел. Но в июне месяце того же года его родственник, знаменитый герой Кульмской битвы⁸, потерявший руку на поле сражения, граф А. И. Остерман-Толстой посадил его с собой в карету и увез за границу, где и пристроил сверхштатным чиновником к русской миссии в Мюнхене. «Судьбе угодно было вооружиться последней рукой Толстого (вспоминает Федор Иванович в одном из писем своих к брату лет 45 спустя), чтоб переселить меня на чужбину»⁹.

Это был самый решительный шаг в жизни Тютчева, определивший всю его дальнейшую участь. <...>

II

В 1822 году переезд из России за границу значил не то, что теперь. Это просто был временный разрыв с отечеством. Железных дорог и электрических телеграфов тогда еще и в помине не было; почтовые сообщения совершались медленно; русские путешественники были редки. Отвергнутый от России в самой ранней, нежной молодости, когда ему было с небольшим 18 лет, закинутый в дальний Мюнхен, предоставленный сам себе, Тютчев один, без руководителя, переживает на чужбине весь процесс внутреннего развития, от юности до зрелого мужества, и возвращается в Россию на водворение, когда ему пошел уже пятый десяток лет. Двадцать два года лучшей поры жизни проведены Тютчевым за границей...

Представим же его себе одного, брошенного чуть не мальчиком в водоворот высшего иностранного общества, окруженного всеми соблазнами большого света, искушаемого собственными

дарованиями, которые тотчас же, с первого его появления в этой блестящей европейской среде, доставили ему столько сочувствия и успеха, — наконец любимого, балуемого женщинами, с сердцем, падким на увлечения страстные, безоглядные... Как, казалось, бы, этой 18-летней юности не поддаться обольщениям тщеславия, даже гордости? Как не растратить в этом вихре суеты, в обаянии внешней жизни сокровища жизни внутренней, высшие стремления духа? Не следовало ли ожидать, что и он, подобно многим нашим поэтам, поклонится кумиру, называемому светом, приобщится его злой пустоте и в погоне за успехами принесет немало нравственных жертв в ущерб и правде, и таланту?

Но здесь-то и поражает нас своеобразность его духовной природы. Именно к тщеславию он и был всего менее склонен. Можно сказать, что в тщеславии у Тютчева был органический недостаток. Он любил свет — это правда; но не личный успех, не утехи самолюбия влекли его к свету. Он любил его блеск и красоту; ему нравилась эта театральная, почти международная арена, воздвигнутая на общественных высотах, где в роскошной сценической обстановке выступает изящная внешность европейского общежития со всей прелестью утонченной культуры; где, — во имя единства цивилизации, условных форм и приличий, — сходятся граждане всего образованного мира, как равноправная труппа актеров. Но, любя свет, всю жизнь вращаясь в свете, Тютчев ни в молодости не был, ни потом не стал «светским человеком». Соблюдая по возможности все внешние светские приличия, он не рабствовал перед ними душой, не покорялся условной светской «морали», хранил полную свободу мысли и чувства. Блеск и обаяние света возбуждали его нервы, и словно ключом било наружу его вдохновенное, грациозное остроумие. Но самое проявление этой способности не было у него делом тщеславного расчета: он сам тут же забывал сказанное, никогда не повторялся и охотно предоставлял другим авторские права на свои, нередко гениальные, изречения. Вообще, как в устном слове, точно так и в поэзии, его творчество только в самую минуту творения, не долее, доставляло ему авторскую отраду. Оно быстро, мгновенно вспыхивало и столь же быстро, выразившись в речи или в стихах, угасало и исчезало из памяти.

Он никогда не становился ни в какую позу, не рисовался, был всегда сам собой, каков он есть, прост, независим, произволен. Да ему было и не до себя, т<о> е<сть> не до самолюбивых соображений о своем личном значении и важности. Он слыш-

ком развлекался и увлекался предметами для него несравненно более занимательными: с одной стороны, блистанием света, с другой, личной, искренней жизнью сердца и затем высшими интересами знания и ума. Эти последние притягивали его к себе еще могущественнее, чем свет. Он уже и в России учился лучше, чем многие его сверстники-поэты, а германская среда была еще способнее расположить к учению, чем тогдашняя наша русская, и особенно петербургская. Переехав за границу, Тютчев очутился у самого родника европейской науки: там она была в подлиннике, а не в жалкой копии или карикатуре, у себя, в своем доме, а не в гостях, на чуждой квартире.

Окунувшись разом в атмосферу стройного и строгого немецкого мышления, Тютчев быстро отрешается от всех недостатков, которыми страдало тогда образование у нас в России, и приобретает обширные и глубокие сведения. По свидетельству одного иностранца (барона Пфэффеля)¹⁰, напечатавшего в конце прошлого года небольшую статью о нем в одной парижской газете, Тютчев ревностно изучал немецкую философию, часто водился с знаменитостями немецкой науки, между прочим с Шеллингом, с которым часто спорил, доказывая ему несостоятельность его философского истолкования догматов христианской веры. Тот же Пфэффель, вспоминая эти годы молодости Тютчева в Мюнхене, выражается о нем следующим образом в одном частном письме, которое нам довелось прочесть: «nous subissions le charme de ce merveilleux esprit (мы находились под очарованием этого диковинного ума)». Не менее замечателен и отзыв И. В. Киреевского, который уже в 1830 году пишет из Мюнхена к своей матери в Москву про 27-летнего Тютчева: «Он уже одним своим присутствием мог бы быть полезен в России: таких европейских людей у нас перечесть по пальцам» *. Тютчев обладал способностью читать с поразительной быстротой, удерживая прочитанное в памяти до малейших подробностей, а потому и начитанность его была изумительна, — тем более изумительна, что времени для чтения, по-видимому, оставалось у него немного **. Вообще при его необыкновенной талантливости занятия наукой не мешали ему вести, по наруж-

* Сочинения И. В. Киреевского. Т. 1, биография¹¹.

** Эту привычку к чтению Тютчев перенес с собой и в Россию и сохранил ее до самой своей предсмертной болезни, читая ежедневно, рано по утрам, в постели, все вновь выходящие, сколько-нибудь замечательные книги русской и иностранных литератур, большей частью исторического и политического содержания.

ности, самую рассеянную жизнь и не оставляли на нем никакой пыли труда, той почтенной пыли, которую многие ученые любят выставять напоказ и которая так способна снискивать благоговение толпы.

Могут заметить, что самая основательность приобретенной Тютчевым образованности достаточно предохраняла его от искушений того мелкого тщеславия, которое в состоянии довольствоваться поверхностными успехами в свете или дешевой популярностью в полуневежественных кругах. Но для Тютчева, при богатстве его жизни и даров, существовала возможность искушений более высшего порядка. Ему естественно было пожелать для себя не только известности, но и славы. Десятой доли его сведений и талантов было бы довольно иному для того, чтоб суметь приобрести почести и значение, занять выгодную общественную позицию, стать оракулом и прогреметь, особенно в нашем отечестве. Примером может служить один из современников Тютчева, Чаадаев, страдавший именно избытком того, в чем у Тютчева был недостаток, — человек бесспорно умный и просвещенный, хотя значительно уступавший Тютчеву и в уме и в познаниях, человек, которому отведено даже место в истории нашего общественного развития, который постоянно позировал с немалым успехом в московском обществе и с подобающей важностью принимал поклонение себе как кумиру. Но именно важности никогда и не напускал на себя Тютчев¹². Если бы он хоть сколько-нибудь о том постарался, молва о нем прошумела бы в России еще в первой половине его жизни, и слава умного человека и поэта не осенила бы его так поздно и притом в пределах только избранных кругов русского общества. От времени до времени доходили, конечно, о нем чрез русских путешественников известия и в Россию, подобные отзыву Киреевского; но тем не менее имя его в отечестве долго оставалось неведомым, и даже Жуковский, если не ошибаемся, уже в 1841 году, встретясь с Тютчевым¹³ где-то за границей, писал о нем как о каком-то неожиданном, приятном открытии. Мы уже знаем, как хлопотал он о своей стихотворческой известности!.. Все блестящее соединение даров было у Тютчева как бы оправлено *скромностью*, но скромностью особого рода, не выставившейся на вид и в которой не было ни малейшей умышленности или аффектации. Эта замечательная психическая черта требует пристального рассмотрения.

Если, несмотря на все соблазны света и увлечения сердца, Тютчев даже и в молодости постоянно расширял кругозор своей мысли и свои познания, которым так дивились потом и рус-

ские, и иностранцы, — все же было бы ошибкой предполагать здесь, с его стороны, какое-либо действие воли, нравственный подвиг, победу над искушениями и т. п. Нисколько. Ленивый, избалованный с детства, не привыкший к обязательному труду, но притом совершенно равнодушный к внешним выгодам жизни, он только свободно подчинялся влечениям своей в высшей степени интеллектуальной природы. Он только утолял свой врожденный, всегда томивший его, умственный голод. С наслаждением вкушал он от готовой трапезы знания и разума, но никогда не удовлетворялся ею вполне; никогда не испытывал того самодовольства сытости, которое с такой приятностью ощущают умы менее требовательные... Вообще всякое самодовольство было ненавистно его существу.

В том-то и дело, что этот человек, которого многие, даже из его друзей, признавали, а может быть признают еще и теперь, за «хорошего поэта» и сказателя острых слов, а большинство — за светского говоруна, да еще самой пустой, праздной жизни, — этот человек, рядом с метким изящным остроумием, обладал умом необычайно строгим, прозорливым, не допускавшим никакого самообольщения. Вообще это был духовный организм, трудно дающийся пониманию: тонкий, сложный, многострунный. Его внутреннее содержание было самого серьезного качества. Самая способность Тютчева отвлекаться от себя и забывать свою личность объясняется тем, что в основе его духа жило искреннее *смирение*: однако ж не как христианская высшая добродетель, а, с одной стороны, как прирожденное личное и отчасти *народное* свойство (он был весь добродушие и незлобие); с другой стороны, как постоянное философское сознание ограниченности человеческого разума и как постоянное же сознание своей личной нравственной немощи. Преклоняясь умом пред высшими истинами Веры, он возводил *смирение* на степень философско-нравственного исторического принципа. Поклонение человеческому я было вообще, по его мнению, тем лживым началом, которое легло в основание исторического развития современных народных обществ на Западе. Мы увидим, как резко изобличает он в своих политических статьях это гордое самообожание разума, связывая с ним объяснение европейской революционной эры, и как, наоборот, возвеличивает он значение духовно-нравственных стихий русской народности. Понятно, что если такова была точка отправления его философского мирозерцания, то тем менее могло быть им допущено поклонение своему личному я. При всем том его скромность относительно своей личности не была в нем чем-то усвоенным, созна-

тельно приобретенным. Его *я* само собой забывалось и утопало в богатстве внутреннего мира мысли, умалялось до исчезновения в виду откровения Божия в истории, которое всегда могущественно приковывало к себе его умственные взоры. Вообще его ум, непрерывно питаемый и обогащаемый знанием, *постоянно* мыслил. Каждое его слово сочилось мыслью. Но так как, с тем вместе, он был поэт, то его процесс мысли не был тем отвлеченным, холодным, логическим процессом, каким он является, например, у многих мыслителей Германии: нет, он не разобцался в нем с художественно-поэтической стихией его души и весь насквозь проникался ею. При этом его уму была в сильной степени присуща *ирония*, — но не едкая ирония скептицизма и не злая насмешка отрицания, а как свойство, нередко встречаемое в умах особенно крепких, всесторонних и зорких, от которых не ускользают, рядом с важными и несомненными, комические и двусмысленные черты явлений. В иронии Тютчева не было ничего грубого, желчного и оскорбительного, она была всегда остра, игрива, изящна и особенно тонко задевала замашки и оболщания человеческого самолюбия. Конечно, при таком свойстве ума не могли же иначе, как в ироническом свете, представляться ему и самолюбивые поползновения его собственной личности, если они только когда-нибудь возникали.

Но кроме того, его *я* уничтожалось и подавлялось в нем, как мы уже сказали, сознанием недостижимой высоты христианского идеала и своей неспособности к напряжению и усилию. Потому что рядом с его, так сказать, бескорыстною, безличною жизнью мысли была другая область, где обретал он самого себя всецело, где он жил только для себя, всей полнотою своей личности. То была жизнь сердца, жизнь чувства, со всеми ее заблуждениями, треволениями, муками, поэзией, драмой страсти; жизнь, которой, впрочем, он отдавался всякий раз не иначе как вследствие самого искреннего, внезапно овладевшего им увлечения, — отдавался без умысла и без борьбы. Но она была у него про себя, не была предметом похвалы и ликования, всегда обращалась для него в источник тоски и скорби и оставляла болезненный след в его душе.

Душа моя — элизиум теней,
 Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
 Ни замыслам години буйной сей,
 Ни радостям, ни горю непричастных.
 Душа моя — элизиум теней,
 Что общего меж жизнью и тобой?..

Так высказывается он сам в своих стихах. Замыслы, радости и горе години не переставали, однако ж, занимать и тревожить его ум; страстные увлечения сердца не ослабляли деятельности его философской мысли, но они тем не менее вносили тягостное раздвоение в его бытие. Ничто не могло омрачить в нем сознания правды. Немерцающий светоч ума и совести постоянно разоблачал пред ним всю тьму противоречий между признаваемым, сочувственным его душе, нравственным идеалом и жизнью; между возвышенными запросами и ответом.

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Этот крик сердечной боли, как бы невольно вырвавшийся из груди поэта, разрешается через несколько строк воплем скорби и верующего смирения в следующих стихах:

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть...

Самая способность смирения, этой силы очищающей, уже служит залогом высших свойств его природы. Биографу Тютчева нет затем никакой надобности входить в подробности этой стороны его существования более, чем сколько нужно для разума его нравственного облика и сокрытых мотивов его поэзии... Но не в одной этой области томился он внутренним раздвоением и душевными муками.

Ум сильный и твердый — при слабодушии, при бессилии воли, доходившем до немощи; ум зоркий и трезвый — при чувствительности нервов самой тонкой, почти женской, — при раздражительности, воспламенимости, одним словом, при творческом процессе души поэта, со всеми ее мгновенно вспыхивающими призраками и самообманом; ум деятельный, не знающий ни отдыха, ни истомы — при совершенной неспособности к действию, при усвоенных с детства привычках лени, при неборимом отвращении к внешнему труду, к какому бы то ни было принуждению; ум постоянно голодный, пытливый, серьезный, сосредоточенно проникавший во все вопросы истории, философии, знания; душа, ненасытно жаждущая наслаждений, волнений, рассеяний, страстно отдававшаяся впечатлениям текущего дня, так что к нему можно было бы применить его собственные стихи про творения природы весной:

Их жизнь, как океан безбрежный,
 Вся в настоящем разлита...

Дух мыслящий, неуклонно сознающий ограниченность человеческого ума, но в котором сознание и чувство этой ограниченности не довольно восполнялись живительным началом веры; вера, признаваемая умом, призываемая сердцем, но не владевшая ими всецело, не управлявшая волей, недостаточно освещавшая жизнь, а потому не вносившая в нее ни гармонии, ни единства... В этой двойственности, в этом противоречии и заключался трагизм его существования. Он не находил ни успокоения своей мысли, ни мира своей душе. Он избегал оставаться наедине с самим собой, не выдерживал одиночества и как ни раздражался «бессмертной пошлостью людской», по его собственному выражению, однако не в силах был обойтись без людей, без общества, даже на короткое время.

Только поэтическое творчество было в нем цельно: мы это увидим при подробной характеристике его как поэта. Но оно, вследствие именно этой сложности его духовной природы, не могло быть в нем продолжительно и, вслед за мгновением творческого наслаждения, он уже стоял выше своих произведений, он уже не мог довольствоваться этими неполными и потому не совсем верными, по его сознанию, отголосками его дум и ощущений; не мог признавать их за *делание* достаточно важное и ценное, достойно отвечающее требованиям его ума и таланта. А что требования эти бывали велики, тревожили иногда его собственную душу с настойчивостью и властью, что пламень таланта порой жег его самого и стремился вырваться на волю: что эти высокие призывы, остававшиеся неудовлетворенными, навели на него припадки меланхолии и уныния, особенно в тридцатых годах его жизни, во время пребывания за границей, где впервые, вдали от отечества, зашевелились и заговорили в нем все силы его дарований, где не мог он порой не тяготиться своим одиночеством, — обо всем этом мы узнаем отчасти из сохранившихся писем его первой жены. Именно ради рассеяния к отпросился он в плавание, с дипломатическими депешами, к Ионическим островам. Об этом свидетельствуют также написанные около того же времени следующие два стихотворения, представлявшие, кроме своего высокого достоинства, психологический и биографический интерес. Первое из них то самое «*Silentium*»¹⁴, которое, напечатанное в 1835 году в «Молве», не обратило на себя никакого внимания и в котором так хорошо выражена вся эта немота поэта — передать точными словами,

логической формулой речи внутреннюю жизнь души в ее полноте и правде:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои!
Пускай в душевной глубине
И всходят и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи:
Любуйся ими и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь;
Взрывая — возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи.

Лишь жить в самом себе умей!
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум:
Их заглушит наружный шум,
Дневные ослепят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи.

В другом превосходном стихотворении эта тоска доходит уже до своего высшего выражения *:

Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает,
И огонь сокрытый и глухой
Слова и строки пожирает, —

Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я
В однообразье нестерпимом.

О Небо! если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы — и погас!

Но и потом, гораздо позднее, нередко вслед за игривым, шутливым словом можно было подслушать как бы невольные стоны, исторгавшиеся из его груди. Его ум сверкал иронией, — его душа ныла... А между тем не было, по-видимому, человека приятнее и любезнее. Его присутствием оживлялась всякая беседа; неистощимо сыпались блески его чарующего остроумия;

* Оно напечатано в «Современнике» в 1836 году.

жадно подхватывались окружающими его меткие изречения, из которых каждое было в своем роде артистическим изделием самой тонкой, узорчатой, художественной чеканки; он пленял и утешал все внемлющее ему общество. Но вот, внезапно, неожиданно скрывшись, он — на обратном пути домой; или вот он, с накинутым на спину пледом, бродит долгие часы по улицам Петербурга, не замечая и удивляя прохожих... Тот ли он самый?..

Стройного, худощавого сложения, небольшого роста, с редкими, рано поседевшими волосами, небрежно осенявшими высокий, обнаженный, необыкновенной красоты лоб, всегда оттененный глубокой думой; с рассеянием во взоре, с легким намеком иронии на устах, — хилый, немощный и по наружному виду, он казался влачившим тяжкое бремя собственных дарований, страдавшим от нестерпимого блеска своей собственной, неугомной мысли. Понятно теперь, что в этом блеске тонули для него, как звезды в сиянии дня, его собственные поэтические творения. Понятны его пренебрежение к ним и так называемая авторская скромность.

Таков был этот своеобразный, высокодаровитый, смелый и смиренный мыслитель и поэт; таков был этот замечательный человек, неотразимо привлекательный изяществом всех проявлений своего духа, — самым сочетанием силы к слабости.

III

Двадцатидвухлетнее пребывание Тютчева за границу; частое посещение всех центров умственной деятельности; постоянное вращение в высшем иностранном обществе; знакомство и беседы со всеми современными светилами науки и искусства — все это не могло не дать и действительно дало Тютчеву тот особый яркий отпечаток общеевропейской образованности, которым поражался всякий при первой с ним встрече. Но быть «человеком европейским» еще не значит быть русским. Напротив: самое двадцатидвухлетнее пребывание Тютчева в Западной Европе позволило предполагать, что из него выйдет не только «европеец», но и «европеист», т.е. приверженец и проповедник теорий европеизма — иначе, поглощения русской народности западною, «общечеловеческою» цивилизацией. Если сообразить всю обстановку Тютчева во время его житья за границей, то кажется, судьба как бы умышленно подвергала его испытанию. Нельзя было придумать, ни сосредоточить в таком

множестве более благоприятных условий для совращения русского юноши, если не в немца или француза, то в иностранца вообще, без народности и отечества. В самом деле, вспомним, как сильно было обаяние западного просвещения на умы в самой России пятьдесят лет тому назад, когда Тютчев в первый раз переселился из Москвы в Мюнхен. Вспомним, что с 18-летнего возраста ему пришлось воспитываться и вырабатываться совершенно одному, без всякой поддержки из России, со всех сторон объятому чужеземной стихией, под ежечасным, непосредственным, могучим воздействием европейской гражданственности. Мы уже выразились выше, что переезд Тютчева за границу равнялся совершенному разрыву с отечеством. И точно: в течение 22-х лет своего пребывания в чужих краях он только четыре раза побывал в России, большей частью на короткий срок, и все его личные заочные с ней сношения едва ли не ограничивались перепиской с своими родными, притом неисправной и вовсе не литературного свойства. Стихотворные вклады в русские альманахи и журналы не радовали его успехом; а в те длинные промежутки, когда прерывалось печатание его стихотворений, прекращалась и эта слабая его связь с отечеством: под конец имя его почти забывается; он как бы перестает существовать для России. Самое дипломатическое поприще, на которое он вступил, менее всего было способно воспитать в нем русского человека. «Национальность в политике» не была еще тогда тем модным, хотя подчас и мнимым девизом дипломатии, как в наше время: политические интересы понимались большей частью с их внешней, нередко случайной стороны; их представителями и защитниками от имени русского государства бывали нередко иностранцы или же такие русские, которые немного более иностранцев были знакомы с русской землей и русским языком и из которых иные, служа лет по 30 за границей, уже и вовсе не способны были разуть двинувшуюся вперед Россию. Вообще, так называемый дипломатический круг при каждом дворе представлял в то время (может быть, представляет и теперь) такую общественную международную почву, на которой, при содействии общего условного языка и общих условных форм, всего легче стиралось в людях клеймо народности, особенно в русских чиновниках, почти всегда зараженных суеверным поклонением кумиру западной цивилизации. В такой-то общественный круг попал Тютчев с самого раннего возраста и обращался в нем без перерыва почти целую четверть века... Вспомним, наконец, что там, за границей, он женился, стал отцом семейства, овдовел, снова женился, оба

раза на иностранках; там, на чужбине, прошла лучшая пора его жизни, со всем, чем дорога человеку его молодость, как он сам о том свидетельствует в следующих стихах, написанных им уже в 1846 году¹⁵, когда, после смерти отца, он посетил свое родное село Овстуг, где родился и провел детские годы:

Итак, опять увиделся я с вами,
 Места немилые, хоть и родные,
 Где мыслил я и чувствовал впервые
 И где теперь туманными очами,
 При свете вечеряющего дня,
 Мой детский возраст смотрит на меня.

О, бедный призрак, немощный и смутный,
 Забытого, загадочного счастья!
 О, как теперь, без веры и участия,
 Гляжу я на тебя, мой гость минутный!
 Куда как чужд ты стал в моих глазах,
 Как брат меньшей, умерший в пеленах.

Ах нет! не здесь, не этот край безлюдный
 Был для души моей родимым краем;
 Не здесь прошел, не здесь был величаем
 Великий праздник молодости чудной!..
 Ах, и не в эту землю я сложил
 То, чем я жил и чем я дорожил!

Припомним, наконец, что в эти 22 года он почти не слышит русской речи, а по отъезде Хлопова¹⁶ и совсем лишается того немногого, хотя и благотворного соприкосновения с русской бытовой жизнью, которое доставляло ему присутствие его дядьки в Мюнхене. Его первая жена ни слова не знала по-русски, так же как и вторая, выучившаяся русскому языку уже по переселении в Россию (и собственно, для того, чтоб понимать стихи своего мужа): следовательно, самый язык его домашнего быта был чуждый. С русскими путешественниками беседа происходила, по тогдашнему обычаю, всегда по-французски; по-французски же, исключительно, велась и дипломатическая корреспонденция, и его переписка с родными.

Каким же непостижимым откровением внутреннего духа далась ему та чистая, русская, сладкозвучная, мерная речь, которою мы наслаждаемся в его поэзии? Каким образом там, в иноземной среде, мог создаться в нем русский поэт — одно из лучших украшений русской словесности?.. Конечно, язык — стихия природная, и Тютчев уже перед отъездом за границу владел вполне основательным знанием родной речи. Но для того, чтобы не только сохранить это знание, а стать хозяином

и творцом в языке, хотя и родном, однако изъятom из ежедневного употребления; чтобы возвести свое поэтическое, русское слово до такой степени красоты и силы, при чужезычной двадцатидвухлетней обстановке, когда поэту даже некому было и поведать своих творений... для этого нужна была такая самобытность духовной природы, которой нельзя не дивиться.

Но еще поразительнее, чем в Тютчеве-поэте, сказывается нам эта самобытность духовной природы в Тютчеве как мыслителе. Невольно недоумеваешь, каким чудом, при известных нам внешних условиях его судьбы, не только не угасло в нем русское чувство, а разгорелось в широкий, упорный пламень, — но еще, кроме того, сложился и выработался целым твердый философский строй национальных воззрений. Мы высоко ценим значение непосредственных бытовых влияний и уже указывали на их присутствие в жизни Тютчева; но нельзя же в самом деле умилительной заботливости Николая Афанасьевича и благочестивым народным обычаям Екатерины Львовны присвоивать слишком сильную нравственную власть над умственным развитием такого «европейского человека», каким считался и был наш покойный писатель. К тому же эти бытовые влияния у нас, в России, одинаково существовали для всех, т<о> е<сть> в равной мере и для людей, которые впоследствии отнеслись к ним с презрением, назвались «западниками» и решительно отвергли у русской народности всякое право на самостоятельность. Предания детства и домашнего быта могли, конечно, согревать душу и питать в Тютчеве природное русское чувство, — но по-видимому и только. Еще сильнее способны были заронить в нем неугасимую искру *патриотизма* воспоминания о 1812 годе и слава, венчавшая Россию по умирении Европы. Но любовь к отечеству сама по себе также не более как чувство, и притом присущее каждому человеческому естеству в каждом народе, — чувство не рассуждающее, не нуждающееся ни в каких отвлеченных основаниях. Непосредственная любовь к *родине* сталкивалась к тому же у Тютчева, как мы видели из приведенных выше стихов, с другими, еще более сильными влечениями; то был «милый сердцу край», в котором праздновал он праздник молодости и любви, где протекли самые золотые годы его жизни, совершенно заслонившие для него годы детства. Здесь следует заметить кстати, что 22 года, проведенные среди не поддельной, а *истой* европейской гражданственности, наложили неизгладимую печать на всю, так сказать, внешнюю сторону его существа: по своим привычкам и вкусам он был вполне «европеец», и европеец самой высшей пробы, со всеми духов-

ными потребностями, воспитываемыми западной цивилизацией. Удобства и средства, доставляемые заграничным бытом для удовлетворения этих потребностей, были ему, разумеется, дороги. Его не переставала также манить к себе, по возвращении в Россию, роскошная природа Южной Германии и Италии, среди которой он прожил с 18-ти до 40-летнего возраста. Так, приехав в 1844 году в Петербург на окончательное водворение, он в ноябре же месяце того года, рисуя в стихах картину Невы зимней ночью, прибавляет к этой картине следующие строфы:

Я вспомнил, грустно молчалив,
 Как в тех странах, где солнце греет,
 Теперь на солнце пламенеет
 Роскошный Генуи залив...
 О Север, Север-чародей,
 Иль я тобою очарован,
 Иль в самом деле я прикован
 К гранитной полосе твоей?
 О если б мимолетный дух,
 Во мгле вечерней тихо вея,
 Меня унес скорей, скорее
 Туда, туда, на теплый Юг!..

Та же мысль выражена и во многих других стихотворениях, например:

Давно ль, давно ль, о Юг блаженный,
 Я зрел тебя лицом к лицу,
 И как Эдем ты растворенный
 Доступен был мне, пришлецу?
 Давно ль, — хотя без восхищенья,
 Но новых чувств недаром полн, —
 Я там заслушивался пеня
 Великих средиземных волн?

И песнь их, как во время оно,
 Полна гармонии была,
 Когда из их родного лона
 Киприда светлая всплыла.
 Они все те же и поныне,
 Все так же блещут и звучат:
 По их лазоревой равнине
 Родные призраки скользят.

Но я... я с вами распростился,
 Я вновь на Север увлечен;
 Вновь надо мною опустился
 Его свинцовый небосклон.
 Здесь воздух колет: снег обильный
 На высотах и в глубине,

И холод, чародей всеильный,
Один господствует вполне...

Или вот еще отрывок:

Вновь твои я вижу очи,
И один твой нежный взгляд
Киммерийской грустной ночи
Вдруг развеял сонный хлад.
Воскресает предо мною
Край иной — родимый край,
Словно прадедов виною
Для сынов погибший рай... —
Сновиденьем безобразным
Скрылся Север роковой;
Сводом легким и прекрасным
Светит небо надо мной.
Снова жадными очами
Свет живительный я пью
И под чистыми лучами
Край волшебный узнаю.

Напротив того, русская природа, русская деревня не обладали для него живой притягательной силой, хотя он понимал и высоко ценил их, так сказать, внутреннюю, духовную красоту. Он даже в течение двух недель не в состоянии был переносить пребывания в русской деревенской глуши, например, в своем родовом поместье Брянского уезда, куда почти каждое лето переезжала на житье его супруга с детьми. Не получать каждое утро новых газет и новых книг, не иметь ежедневного общения с образованным кругом людей, не слышать около себя шумной общественной жизни — было для него невыносимо. Хозяйственные интересы, как легко можно поверить, для него вовсе не существовали. Ведая свою «непрактичность», он и не заглядывал в управление имением. Даже мудрено себе и вообразить Тютчева в русском селе, между русскими крестьянами, в сношениях и беседах с мужиком. Так, казалось, мало было между ними общего...

А между тем Тютчев положительно пламенел любовью к России: как ни высокопарно кажется это выражение, но оно верно... И вот опять новое внутреннее противоречие — в дополнение к тому множеству противоречий, которым, как мы видели, осложнялось все его бытие!

Но если под «любовью к России» понимать то же, что обыкновенно понимается под словом «патриотизм», то здесь почти нет места противоречию. Потому что «патриотизм», в котором

никогда и России не было недостатка, именно в России вовсе и не означал ни уважения, ни даже простого сочувствия к русской народности. Отстаивая с беспримерным мужеством политическое существование русского государства, патриотизм не выдерживал столкновения с нравственным натиском Западной Европы и, охраняя целостность внешних пределов, трусливо *пасовал* и поступался русской национальностью в области бытовой и духовной... Что мог, казалось, кроме *чувства* любви к отечеству, противопоставить молодой Тютчев, переехав в чужие края, враждебному к русской народности авторитету европейской цивилизации, всем этим неприязненным умственным силам во всеоружии науки, знания, крепких систем? Что способна была ему дать, чем напутствовать его в оны годы Россия?

Не к стати ли будет здесь обновить несколько в памяти тот двадцатидвухлетний период русской исторической жизни и общественного самосложения, который совершился вне всякого участия и вдали от Тютчева — и в то же время без всякого с своей стороны воздействия на развитие самого поэта?

Период с 1822 по 1844 год был важной эпохой во внутренней истории нашего отечества. В 1822 году воспоминания 12-го года и последовавших за ним славных для России событий были еще во всей своей животрепещущей силе. Высокий жребий умиротворения Европы, выпавший на долю Александра I, превозмог в нем власть народных инстинктов. Верховного вождя русского народа перевешивал бескорыстный европеец, устроитель европейских судеб, непричастный национальному эгоизму... В обществе возбужденное войной патриотическое чувство, защитившее внешнюю независимость русской земли, еще не доросло до притязаний на ее духовную независимость. Русская мысль еще не вчинала подвига народного самосознания. Вслед за отраженным нами «нашествием двенадцати язык», сильнее, чем когда-либо, повторилось на Россию нашествие с Запада: идей, теорий, доктрин — политических, философских и нравственных. Живое сближение с Европой в лице образованного слоя нашей победоносной армии дало в свою очередь победу над русскими умами обаятельным формам европейской гражданственности. В то время, как наша внешняя государственная политика приносила в жертву интересам европейского равновесия и покоя политические интересы России, отказывая в поддержке грекам и сербам¹⁷, русское общество, расколыхавшись, как море, от разразившейся над Россией великой исторической бури, представляло зрелище необычайного умственного брожения. Смутно чувствуя ложь своего исторического пути и всего обществен-

ного строя, оно не умело еще додуматься до настоящей причины этой лжи и, обходя или не ведая про свой народ и свою народность, искало разрешения томившим его задачам в чужой исторической жизни. Под влиянием иностранных образцов это брожение принимало формы то тугендбундов¹⁸, то иных подобных союзов, пока, наконец, не превратилось в политический заговор. Событие 14-го декабря снесло с русской земли цвет высшего образованного общества. Началось новое царствование и с ним новый период внутреннего развития. Русский кабинет по-прежнему пекся об Европе, но уже без «галантерейного обращения» александровской эпохи: новый царь держал имя России грозно. Мятеж декабристов обличил историческую несостоятельность политических иностранных идеалов, насильственно переносимых на русскую почву; фальшивые призраки будущего переустройства России на европейский фасон, которыми тешилось незрелое, порвавшее с народными преданиями русское общество, были разбиты. Давление сверху, стеснив всякую внешнюю общественную деятельность, вогнало русскую мысль внутрь...

Действительно, мы видим, что русская словесность, — в которой при отъезде Тютчева за границу еще господствовали французские литературные авторитеты вместе с самыми жалкими и детскими эстетическими теориями, — мало-помалу пробует освобождаться и наконец освобождается совсем из оков псевдоклассицизма и подражательности. Гений Пушкина ищет содержания в народной жизни. Настает Гоголь: неумолимо разоблачена духовная скудость и нравственная пошлость нашего общественного строя; все лживо-важное, ходульное, напыщенное в литературном изображении и разумении нашей русской действительности исчезает, как снег весной, от одного явления этого громадного таланта¹⁹. В художественном воспроизведении жизни водворяется требование простоты и правды (переходящее впоследствии у большинства писателей в голое обличение и отрицание). Критика в лице Белинского (в лучшую пору его деятельности) окончательно сокрушает фальшивые литературные кумиры и остатки старых эстетических теорий.

В 1826 году выходит последний том «Истории государства Российского» Карамзина. Его монументальный, хотя и не окончанный труд, при всем своем несовершенстве, пролагает путь к ближайшему знакомству с историческим ростом России, к внимательнейшему исследованию ее прошлых судеб. Обнародование актов, грамот, летописей и других памятников древней русской письменности, вообще издания Археографической ко-

миссии²⁰ создают новую эпоху в изучении русской истории и самым могущественным образом движут вперед наше историческое сознание. В области отвлеченного умственного движения, совершающегося преимущественно в Москве, влияние французских мыслителей и вообще философии XVIII века сменяется более благотворным, хотя иногда и очень поверхностным воздействием на русские умы германской науки и философии. Русская мысль трезвеет и крепнет в строгой школе приемов немецкого мышления и также пытается стать в сознательное, философское отношение к русской народности. С одной стороны, вырабатывается целая стройная доктрина, как продукт высших просвещенных соображений, — что спасение для России заключается в полнейшем отречении от всех народных, исторических, бытовых и религиозных преданий; во главе этого направления стоит Чаадаев. С другой, сначала одиноко и большей частью еще в стихах, раздается протест Хомякова; к нему примыкает постепенно целая дружина молодых людей — из последователей Гегелевой философии, а потом и несколько самостоятельных мыслителей, как Киреевские и другие. Общество распадается на два стана: «западников» и «восточников»; за последними утверждается прозвище «славянофилов», данное им в насмешку петербургской журналистикой. Завязывается сильная, запальчивая борьба в печати, в рукописи, в устных беседах, в частных домах, на общественных сборищах и университетских кафедрах. Славянофилы устремляются к изучению русской народности во всех ее проявлениях, к раскрытию ее внутреннего содержания, к наследованию ее коренных духовных и гражданских стихий. Они, по выражению Хомякова, «допрашивают духа жизни»²¹, сокрытого в нашем былом и хранящегося еще в настоящем, т<o> е<сть> в простом русском народе. Они усматривают в нем, в этом «духе жизни», и в православном вероисповедании новые просветительные начала для человечества, указывают на новые своеобразные основания для социального и политического строя. Протестуя против деспотизма петровского переворота и против всяческого насилия над народной жизнью, они требуют для русской земли свободы органического развития, признания прав самой жизни, уважения к русской народности и к народу (не к народу вообще, чем пробавлялись многие наши демократы, отворачиваясь от русского мужика или стараясь обманом и силой уподобить его заграничным демократическим образцам, а именно к русскому народу и его бытовым основам). Вместе с тем, обвиняя русское образованное общество в разрыве с историческими народными

преданиями, в нравственной измене своей стране, обличая скудость и непроизводительность перенятого им, в духе рабства и подражания, западного просвещения, — славянофилы проповедуют необходимость, право и обязанность для русской народности самостоятельного труда и вклада в общечеловеческую науку, искусство и знание. С увлечением превозносят они историческое и духовное призвание России как представительницы православного Востока и славянского племени, и предвещают ей великое мировое будущее. Между тем западничество, найдя себе опору в Белинском, переселившемся в Петербург, господствует в журналистике и, как теория, разделяет потом судьбу самой германской философии, переходящей постепенно, в дальнейшем своем развитии, из идеализма в материализм, позитивизм и в другие системы нефилософского свойства и преимущественно французского происхождения. В первой половине сороковых годов, т<о> е<сть> ко времени возвращения Тютчева в Петербург, борьба между обоими лагерями была в самом разгаре.

Мы распространились о славянофильстве несколько подробнее потому, что собственное миросозерцание Тютчева находится с ним если не в прямой связи, то в соотношении. Заметим еще, что лично славянофилы как в сороковых годах, так и впоследствии никогда не пользовались большим успехом и стояли в обществе особняком, малым отрядом. О них много шумели и кричали, издевались над ними в стихах и прозе, выставляли их на сцене, обвиняли в обскурантизме, возводили умышленно и неумышленно разные небылицы, — но никто никогда не мог отрицать их гражданской независимости, откровенности их речей и действий, высоконравственного характера их учения. Самое это учение, в своем целом объеме, как учение, никогда не было популярным, да и не было вполне сформулировано или выражено в виде точного кодекса; славянофильские издания расходились вообще в малом количестве; их журналы имели, сравнительно, очень немного подписчиков; непосредственного действия на массы читающего люда они не оказывали, — но действие их на своих противников, на так называемую интеллигенцию, было неотразимо, — хотя и не быстро. Противники, наконец, догадались, что почва у них из-под ног постепенно уходит, враждебные газеты и журналы стали сдаваться и принимать одно за другим разные славянофильские положения, — правда, видоизменяя, «очищая» их по-своему и выдавая за собственные измышления, но все-таки сходясь с славянофильством хоть в некоторых существенных основаниях. Не как уче-

ние, воспринимаемое в полном объеме послушными адептами, а как направление, освобождающее русскую мысль из духовного рабства перед Западом и призывающее русскую народность стать на степень самостоятельного просветительного органа в человечестве, славянофильство, можно сказать, уже одержало победу, т<о> е<сть> заставило даже и врагов своих признать себя весьма важным моментом в ходе русской общественной мысли. Мы со своей стороны думаем, что оно не только исторический момент уже отжитый, но и пребывает и пребудет в истории нашего и дальнейшего умственного развития — как предъявленный неумолкающий запрос, как постоянный двигатель и указатель. Самое прозвище «славянофильство» может быть покинуто и забыто; может потеряться из виду преемственная духовная связь между первыми деятелями и новейшими; многое, совершающееся под общим воздействием славянофильских мнений, но совершающееся в данную, известную пору, при известных исторических условиях, будет даже уклоняться, по-видимому, от чистоты и строгости некоторых славянофильских идеалов. Без сомнения, отжиты также те крайние увлечения, которые органически, так сказать, были связаны с личным характером первых проповедников или вызывались страстностью борьбы; некоторые слишком поспешно определенные формулы, в которых представлялось иным славянофилам будущее историческое осуществление их любимых мыслей и надежд, оказались или окажутся ошибочными, и история осуществит, может быть, те же начала, но совсем в иных формах и совсем иными, неисповедимыми своими путями... Но тем не менее раз возбужденное народное самосознание уже не может ни исчезнуть, ни прервать начатой работы, и оправдает, конечно, со временем многие высказанные славянофильством положения, кажущиеся теперь мечтательными. Сделав это небольшое, но необходимое, впрочем, отступление, возвращаемся к нашему очерку.

Россия 1822 и Россия 1844 года — какой длинный путь пройден русской мыслью! какое полное видоизменение в умственном строе русского общества! Во всем этом движении, этой борьбе Тютчев не имел ни заслуги, ни участия. Он оставался совершенно в стороне, и, к сожалению, у нас нет ни малейших данных, которые бы позволили судить, как отозвались в нем и внешние события, например 14-е декабря и т. п., и явления духовной общественной жизни, отголосок которых все же мог иногда доходить и до Мюнхена. Уехав из России, когда еще не завершилось издание «Истории» Карамзина, только что разда-

лись звуки поэзии Пушкина, обаяния Франции было еще все-таки сильно, и о духовных правах русской народности почти не было и речи, Тютчев возвращается в Россию, когда замолк и Пушкин, и другие его спутники-поэты, когда Гоголь уже издал «Мертвые души», когда нравственное владычество Франции было почти совсем свергнуто благодаря немцам и толки о народности, борьба не одних литературных, но и жизненных общественных направлений, занимала все умы... Что же выработал за границей его ум, так долго и одиноко созревавший в германской среде? Явился ли он «отсталым» для России, но передовым представителем европейской мысли? Какое последнее слово западного просвещения принесет он с собой?

Он и действительно явился представителем европейского просвещения. Но велико же было удивление русского общества, и особенно тогдашних наших западников, когда оказалось, что результатом этого просвещения, так полно усвоенного Тютчевым, было не только утверждение в нем естественной любви к своему отечеству, но и высшее разумное ее оправдание; не только верование в великое политическое будущее России, но и убеждение в высшем мировом призвании русского народа и вообще духовных стихий русской народности. Тютчев как бы перескочил через все стадии русского общественного двадцатидвухлетнего движения и, возвратись из-за границы с зрелой, самостоятельно выношенной им на чужбине думой, очутился в России как раз на той ступени, на которой стояли тогда передовые славянофилы с Хомяковым во главе. А между тем Тютчев вовсе не знал их прежде да и потом никогда не был с ними в особенно тесных сношениях. Правда, он всегда говаривал, что ни с кем встреча не была так плодотворна для его мысли, как именно с Хомяковым и его друзьями, — и это понятно: он нашел то, чего не ожидал, — почти полное подтверждение его собственных, одиноко выработанных воззрений, почти тождественную с его мнениями систему, опирающуюся на ближайшем изучении русской истории и народного быта, — а этого изучения ему именно и недоставало. Силой собственного труда, идя путем совершенно самостоятельным, своеобразным и независимым, без сочувствия и поддержки, без помощи тех непосредственных откровений, которые каждый, неведомо для себя, исчерпывает у себя дома, в отечестве, из окружающих его стихий церкви и быта, — напротив: наперекор окружавшей его среде и могучим влияниям, — Тютчев не только пришел к выводам, совершенно сходным с основными славянофильскими положениями, но и к их чаяниям и гаданиям, — а в некоторых

политических своих соображениях явился еще более *крайним*. Мы не имеем возможности проследить постепенный ход его мысли за границей, но можем отметить, даже в начале его заграничного пребывания, замечательную самобытность его ума в отношении к авторитетам западной науки <...>

Вообще Тютчев, как можно заключать по некоторым данным, хотя и жадно воспринимал в себя сокровища западного знания, но не только без благоговения и подобострастия, а с полной свободой и независимостью. Он с самого начала как бы *судил* Запад. Тот же иностранец приводит слова Тютчева по поводу борьбы Карла X с народным представительством во Франции, разразившейся Июльской революцией...²² Тютчев даже и тогда проводил различие между революцией как отпором незаконной власти и революцией как теорией, революцией, возведенной в право, в принцип. Он обличал в этой революции присутствие целого нового культа, целого революционного вероисповедания, которое, по мнению Тютчева, связывалось с общим историческим ходом философской и религиозной мысли на Западе. Потому Тютчев еще в 1830 году предсказывал последовательный ряд революций, — неминуемое наступление для Европы революционной эры. Такой взгляд в молодом человеке и в ту именно пору, когда события Июльских дней кружили голову всей молодежи и приветствовались ею с энтузиазмом, а учреждение Июльской конституционной монархии во Франции казалось, даже и более зрелым головам, чуть не разрешением всех политических задач, прочным залогом народного благоденствия, высшей нормой общественного бытия и прочее, такой взгляд, конечно, обнаруживал редкую самостоятельность.

Не менее поразительным является и написанное им в 1841 году послание к Ганке²³. В России, собственно говоря, в Москве, в то время только что начинали завязываться непосредственные сношения с славянскими племенами Австрии и Турции; вернее сказать, эти сношения с передовыми людьми славянства существовали и раньше, но только у очень немногих русских ученых, филологов, археологов и историков; почин в этом деле принадлежал М. П. Погодину²⁴. Только в начале сороковых годов это стремление к теснейшему сближению с славянским миром стало принимать у нас характер общественный, и значение духовной и племенной связи России с славянами начало постепенно входить в наше историческое самосознание. Но носителем и представителем такого самосознания был еще очень небольшой кружок, тогда еще и не прозванный «славянофиль-

ским». Это Московское движение оставалось в то время еще совершенно чуждым и едва ли даже ведомым Тютчеву, и хотя идея панславизма уже бродила тогда между западными славянами, однако же мало была известна немцам, среди которых жил Тютчев. Таким образом то отношение, в которое Тютчев мыслью и сердцем стал к славянскому вопросу в 1841 году, было его личным делом; его послание к Ганке написано не с чужого голоса, а есть самостоятельный голос. Он лично посетил Прагу. Вот несколько строк из этого послания:

Вековать ли нам в разлуке?
 Не пора ль очнуться нам
 И подать друг другу руки,
 Нашим братьям и друзьям?
 Веки мы слепцами были,
 И как жалкие слепцы,
 Мы блуждали, мы бродили,
 Разбрелись во все концы...
 И вражды безумной семя
 Плод сторичный принесло!
 Не одно погибло племя
 Иль в чужбину отошло.
 Иноверец, иноземец
 Нас раздвинул, разломил:
 Тех обезьязычил немец,
 Этих турок осрамил...
 Вот среди сей ночи темной
 Здесь, на Пражских высотах,
 Доблий муж рукою скромной
 Засветил маяк впотьмах.
 О, какими вдруг лучами
 Осветились все края!..
 Обличилась перед нами
 Вся Славянская земля!
 Рассветает над Варшавой,
 Киев очи отворил,
 И с Москвой золотоголовой
 Вышеград заговорил.
 И наречий братских звуки
 Вновь понятны стали нам, —
 Наяву увидят внуки
 То, что снилось отцам!

М. П. Погодин в своей статье по поводу кончины Тютчева²⁵ также свидетельствует, что когда он, после 20 лет разлуки с Тютчевым, «увидался с ним и услышал его в первый раз, после всех странствий, заговорившего о славянском вопросе, то не ве-

рил ушам своим», хотя, прибавляет Погодин, «этот вопрос давно уже был предметом моих занятий и коротко мне знаком».

В том же 1841 году²⁶ написано Тютчевым в Мюнхене стихотворение по случаю перенесения праха Наполеона с острова Св<ятой> Елены в Париж. Это событие вдохновило и в России многих наших поэтов, в том числе и Хомякова в Москве. Но замечательно то, что стихотворения как мюнхенского старожила и дипломата, так и москвича-славянофила сходны между собой в основных, существенных мотивах, которых не затронули другие поэты. И Тютчева и Хомякова воспоминание о Наполеоне приводит к мысли, что сила этого гордого гения сокрушилась не о вещественную мощь России, а о нравственную силу русского народа, — его смирение и веру. Наконец оба по поводу завершения, так сказать, Наполеонова эпоса обращают свои взоры к пробуждающемуся Востоку.

Вот отрывки из стихотворения Тютчева о Наполеоне:

Два демона ему служили,
 Две силы чудно в нем слились:
 В его главе орлы парили.
 В его груди змеи вилась...
 Но освящающая сила,
 Непостижимая уму,
 Его души не озарила
 И не приблизилась к нему.
 Он был земной, не Божий пламень,
 Он гордо плыл, смиритель волн;
 Но о подводный веры камень
 В щепы разбился утлый челн.

И ты стоял — перед тобой Россия!
 И вещей волхв, в предчувствии борьбы,
 Ты сам слова промолвил роковые:
 «Да сбудутся ее судьбы!..»
 Года прошли, и вот из ссылки тесной
 На родину вернувшийся мертвец,
 На берегах реки тебе любезной,
 Тревожный дух, почил ты наконец.
 Но чуток сон и, по ночам тоскуя,
 Порою встав, ты смотришь на Восток...

У Хомякова:

И в те дни своей гордыни
 Он пришел к Москве святой,
 Но спалил огонь святыни
 Силу гордости земной...²⁷

И потом:

Скатилась звезда с омраченных небес,
 Величье земное во прахе!..
 Скажите, не утро ль с Востока встает?
 Не новая ль жатва над прахом растет?
 и проч.

В статье «Россия и Германия», написанной и напечатанной им за границей в 1844 году, уже намечаются автором, еще слегка и неполно, черты его политической и исторической думы, которой полное выражение мы находим в его позднейших статьях, стихах и письмах. В этом письме своем к д-ру Кольбу²⁸ он прямо противопоставляет Западной Европе — «Европу Восточную», т<о> е<сть> Россию; он называет Россию «целым миром, единым в своем основном духовном, начале», «более искренно-христианским, чем Запад», «империю Востока, для которой первая империя византийских кесарей служила лишь слабым и неполным предначертанием и которой остается лишь окончательно сложиться, — что неминуемо, в чем и заключается так называемый Восточный вопрос». Не подлежит сомнению, что подобное политическое вероисповедание не было в то время еще никем заявлено в русской литературе, особенно так прямо и положительно, и нельзя не удивляться спокойной смелости, с которой Тютчев решился высказать его пред лицом Европы. Конечно, как мы и выразились, мысль его в этой статье очерчена только слегка, но этот очерк как бы уже намекает на целый строй вполне выработанных, проверенных и усвоенных себе автором политических убеждений.

Мы с намерением перечислили здесь все документальные данные, свидетельствующие о том, что еще за границей, вполне самостоятельно и своеобразно, сложилось у Тютчева то русское мирозерцание, которое одновременно вырабатывалось и проповедовалось в Москве Хомяковым и его друзьями, которое навлекло на них столько насмешек и прозвищ (между прочим, «славянофилов» и «квасных патриотов»), столько упреков и обвинений (между прочим, в ретроградности и в обскурантизме) и приводило в такое негодование наших русских поклонников западноевропейской цивилизации. Ко всему этому следует присоединить воспоминание Ю. Ф. Самарина²⁹ о том, что в начале сороковых годов, еще до переселения Тютчева в Россию, на одном из тех московских вечеров, где, по тогдашнему обыновению, происходили жаркие препирательства между «Западом» и «Востоком», присутствовал недавно приехавший из

Мюнхена князь Иван Гагарин и, слушая Хомякова, невольно воскликнул: «Je crois entendre parler Tutcheff! Le malheureux, comme il va donner là dèdans!» *. Почти никто из присутствовавших не знал имени Тютчева, и это восклицание не обратило тогда на себя никакого внимания. Наконец, Тютчев — в России знакомится с петербургским и московским обществом и, не обинуясь, на чистейшем французском диалекте, не надевая ни мурмолки, ни святославки, а являясь вполне европейцем и светским человеком³⁰, проповедует, на основании своей собственной аргументации, учение почти одинаково *дикое*, как и учение Хомякова, К. С. Аксакова и им подобных. Рассказывают, что особенно забавно бывало видеть Чаадаева и Тютчева вместе и слушать их споры. Чаадаев не мог не ценить ума и дарований Тютчева, не мог не любить его, не мог не признавать в Тютчеве человека вполне европейского, более европейского, чем он сам, Чаадаев; пред ним был уже не последователь, не поклонник западной цивилизации, а сама эта цивилизация, сам Запад в лице Тютчева, который к тому же и во французском языке был таким хозяином, как никто в России, и редкие из французов... Чаадаев глубоко огорчился и даже раздражался таким неприличным, непостижимым именно в Тютчеве заблуждением, *абerrацией*, русоманиею ума, просветившегося знанием и наукою у самого источника света, непосредственно от самой Европы. Чаадаев утверждал, что русские в Европе как бы незаконнорожденные (*une nation bâtarde* **); Тютчев доказывал, что Россия особый мир, с высшим политическим и духовным призванием, пред которым должен со временем преклониться Запад. Чаадаев настаивал на том историческом вреде, который нанесло будто бы России принятие ею христианства от Византии и отделение от церковного единства с Римом; Тютчев, напротив, именно в православии видел высшее просветительное начало, залог будущности для России и всего славянского мира и полагал, что духовное обновление возможно для Запада только в возвращении к древнему вселенскому преданию и древнему церковному единству. Эту мысль свою он исповедует гласно, пред всем миром, в статье, напечатанной в парижском журнале («La Papauté et la Question Romaine» ***. — «Revue des Deux Mondes», 1850 г.) и если не убедившей, то поразившей европей-

* «Кажется, я слышу Тютчева! Несчастный, как он влечется во все это!» (фр.). — Ред.

** Незаконная нация (фр.). — Ред.

*** «Папство и Римский вопрос» (фр.). — Ред.

скую публику необычной, даже для нее, талантливостью, глубиной, смелостью мысли и мастерством изложения. Чаадаев и его друзья-«западники» признавали западноевропейскую цивилизацию единственным идеалом в России и прогресс этой цивилизации — высшей целью высших стремлений человеческого духа; Тютчев обличал в этой цивилизации оскудение духовного начала и пророчил, что, уклоняясь от оснований веры, объявляясь и проникнувшись принципом материализма, она дойдет до самоотрицания и до самозаклания. «Западникам», наконец, будущее Западной Европы представлялось в самом розовом цвете, и в ее революционных сотрясениях они усматривали поступательное движение вперед, сулили в грядущем благо всему человечеству; Тютчев объявлял начало революционной эры в Европе началом ее падения, принципом разрушительным, а не созидательным, основанным на насилии, на отрицании, на самообожании человеческого разума, и высказывал свои воззрения во всеуслышание всей Европы в статье: «La Russie et la Révolution» *, напечатанной в Париже, статье, которая произвела за границей сильное впечатление, которая в извлечениях была два раза перепечатываема (с промежутком шести лет) в «Revue des [Deux] Mondes», — не забыта даже и теперь. «Западники», даже и демократы, с презрением и глумлением относились к русскому простому народу; а Тютчев сам, несомненно, питомец гордого и красивого Запада — вот что способен был говорить про этот русский народ:

Эти бедные селенья,
 Эта скудная природа —
 Край родной долготерпенья,
 Край ты русского народа.
 Не поймет и не заметит
 Гордый взор иноплеменный,
 Что сквозит и тайно светит
 В наготе твоей смиренной.
 Удрученный ношей крестной,
 Всю тебя, земля родная,
 В рабском виде Царь небесный
 Исходил благословляя...

И вот чего чаял он в будущем этому краю смирения и долготерпения, вот с какими стихами обращался поэт к России во время последней Восточной войны³¹, когда почти вся христиан-

* «Россия и Революция» (фр.). — Ред.

ская Западная Европа в союзе с мусульманами и во имя цивилизации домогалась нашего уничтожения и гибели:

...Ложь воплотилась в булат, —
 Каким-то Божьим попущеньем,
 Не целый мир, но целый ад
 Тебе грозит ниспроверженьем.
 Все богохульные умы,
 Все богомерзкие народы
 Со дна воздвиглись царства тьмы —
 Во имя света и свободы!
 Тебе они готовят плен,
 Тебе пророчат посрамленье,
 Ты — лучших будущих времен
 Глагол, и жизнь, и просвещенье!

Россия — глагол, просвещенье, жизнь человечества лучших будущих времен... Так вот к какому чаянию привело Тютчева двадцатидвухлетнее воспитание в европейской умственной школе! Так вот на что послужили ему все дары западного просвещения!.. Только на удобрение почвы для взращения русской самостоятельной мысли, только на оправдание и укрепление врожденного чувства любви к России!.. Здесь опять нельзя не поразиться совпадением стихов Тютчева в основных тонах с стихами Хомякова — двух поэтов, так мало сходных своей личной судьбой. Припомним стихи Хомякова:

И другой стране смиренной,
 Полной веры и чудес,
 Бог отдаст судьбу вселенной,
 Меч земли и гром небес!³²

Или:

И вот за то, что ты смиренна,
 Что в чувстве детской простоты,
 В молчанье сердца сокровенна
 Глагол Творца прияла ты,
 Тебе он дал свое призванье,
 Тебе он светлый дал удел.

Далее:

Твое все то, чем дух святится,
 В чем сердцу слышен глас небес,
 В чем жизнь грядущих дней таится,
 Начало славы и чудес!
 О, вспомни свой удел высокий,
 Былое в сердце воскреси,

И в нем сокрытого глубоко
 Ты духа жизни допроси.
 Внимай ему — и все народы
 Обняв любовью своей,
 Скажи им таинство свободы,
 Сиянье веры им пролей.
 И станешь в славе ты чудесной
 Превыше всех земных сынов,
 Как этот синий свод небесный,
 Прозрачный Вышнего покров!

Но если в Хомякове, человеке, *жившем в церкви*, по выражению Ю. Ф. Самарина (в его предисловии³³ к богословским сочинениям Хомякова), такое отношение к христианским свойствам русского народа и к хранимой народом истине веры вполне понятно, то тем труднее объяснить подобное явление в Тютчеве, жившем, по-видимому, совершенно вне церкви, во всяком случае, вне церковной бытовой русской стихии, развившемся умственно и нравственно в чуждой, враждебной России, европейской среде. Особенно странным кажется это теплое сочувствие к той нравственной стороне русской народности, которая менее всего ценится, и особенно мало ценилась в то время, людьми западноевропейского образования, склонными чувствовать красивую гордость и нарядный героизм, но уже никак не «смирение»... Но в Тютчеве оно объясняется отчасти психологически: мы уже постарались выше охарактеризовать его внутренний душевный строй и указали на присутствие в нем самом смирения и скромности не как сознательно усвоенной добродетели, а как личного, врожденного и как общего *народного* свойства. Мы видели также, что поклонение *своему я* было ему ненавистно, а *поклонение человеческому я вообще* представлялось ему обоготворением ограниченности человеческого разума, добровольным отречением от высшей, недостижимой уму, абсолютной истины, от высших надземных стремлений, — возведением человеческой личности на степень кумира, началом материалистическим, гибельным для судьбы человеческих обществ, воспринявших это начало в жизнь и в душу. Этот взгляд проведен им как философское убеждение во всех его блестящих французских статьях, о которых мы упомянули выше, — и он же как нравственный мотив, как Grundton* звучит и во всей его поэзии. Вот эта-то психическая особенность Тютчева, признанная и оправданная его глубоким умом, наукой, знанием, она-то и оградила его духовную самобытность и не только сохранила

* Основной тон (нем.). — Ред.

в нем русского человека, но еще дала ему возможность уразуметь русские народные нравственные идеалы, вынести и пронести их в себе на чужбине, без всякого непосредственного на него воздействия русского быта, из самого котла европейской цивилизации, сквозь все оболыщения западной жизни, сквозь всю одуряющую суету светской среды, сквозь все блуждания личного нравственного бытия... Он не изменил им ни мыслью, ни сердцем в течение всей остальной половины своего существования. Вся его умственная деятельность в России была только дальнейшим развитием и исповеданием тех начал и взглядов, которые мы очертили и которые в главных своих основаниях выработались у него за границей. Ничто не раздражало его в такой мере, как скудость национального понимания в высших сферах, правительственных и общественных, как высокомерное, невежественное пренебрежение к правам и интересам русской народности. Его ирония, обыкновенно необходимая, становилась едкой; он сыпал сарказмами в речах и стихах:

Напрасный труд! Нет, их не вразумишь! —

так гласила одна его напечатанная импровизация:

Чем либеральней, тем они пошлее!
 Цивилизация — для них фетиш,
 Но недоступна им ее идея.
 Как перед ней ни гнитесь, господа,
 Вам не снискать признанья от Европы:
 В ее глазах вы будете всегда
 Не слуги просвещения, а холопы!

И сколько таких импровизаций ненапечатанных и неудобопечатных!..

Мы не станем излагать в подробности³⁴ всей его довольно тщательно разработанной философско-исторической системы: ниже, в особом отделе, читатели найдут полный разбор его статей, напечатанных и рукописных. Нам только было нужно здесь же, в дополнение к нравственной характеристике Тютчева, выяснить самостоятельность его духовной природы, указать размах его русской мысли и чувства, а вместе с тем новый вид того раздвоения и противоречия, которым удручила его судьба...

В самом деле, не странно ли, что при всей резкости народного направления мысли в Тютчеве наш высший свет, high light *

* Высшее общество, аристократия (англ.). — Ред.

не только отвергал Тютчева и не подвергал равному с славянофилами осмеянию и гонению, но всегда признавал его своим, — по крайней мере интеллигентный слой этого света. Конечно, этому причиной было то обаяние всесторонней культуры, которое у Тютчева было так нераздельно с его существом и влекло к нему всех, даже несогласных с его политическими убеждениями. Эти убеждения признавались достойными сожаления крайностями, оригинальностью, капризом, парадоксальностью сильного ума и охотно прощались Тютчеву ради его блестящего остроумия, общительности, приветливости, ради утонченно-изящного европеизма всей его внешности. К тому же все «национальные идеи» Тютчева представлялись обществу чем-то *отвлеченным* (чем, по-видимому, они в нем и были отчасти), делом *мнения* (*une opinion comme une autre!*), а не делом жизни. Действительно, они не вносили в отношения Тютчева к людям ни исключительности, ни нетерпимости; он не принадлежал ни к какому литературному лагерю и был в общении с людьми всех кругов и станом; они не видоизменяли его привычек, не пересоздавали его частного быта, не налагали на него никакого клейма ни партии, ни национальности... Но точно ли весь этот русский элемент в Тютчеве был только отвлеченной мыслью, только делом одного мнения? Нет: любовь к России, вера в ее будущее, убеждение в ее верховном историческом призвании владели Тютчевым могущественно, упорно, безраздельно, с самых ранних лет и до последнего издыхания. Они жили в нем на степени какой-то стихийной силы, более властительной, чем всякое иное личное чувство. Россия была для него высшим интересом жизни: к ней устремлялись его мысли на смертном одре... А между тем странно в самом деле подумать, что стихотворение по случаю посещения русской деревни (*ах нет, не здесь, не этот край безлюдный был для души моей родимым краем*) и стихотворение: «Эти бедные селенья, эта скудная природа» написаны одним и тем же поэтом; что эта любовь к русскому народу не выносила жизни с ним лицом к лицу и уживалась только с петербургской, высшей общественной, почти европейской средой? Но такое противоречие создано было Тютчеву самой судьбой. Что же делать, если всю молодость, лучшие 22 года, он провел за границей; если он был связан с чуждой землей всеми дорогими воспоминаниями сердца, долготелными привычками быта, самым воспитанием своего ума? Подобно тому как за границей, в его германском или итальянском далеко, Россия представлялась ему не в подробностях и частностях, а в своем целом объеме, в своем общем значении, — не с точки

зрения нынешнего дня, а с точки зрения мировой истории: подобно тому продолжал он смотреть на Россию и в России, не смущаясь злобой дня, не нуждаясь в более тесном соприкосновении с русской действительностью. Не следует забывать, что он был поэт, а поэтические представления довольствуют поэта более, чем грубая реальность. Но тем не менее в области этого идеального представления и убеждение, и чувство его были сильны, страстны, истинны и не отвлеченны, а реальны.

Нет сомнения, что явление, подобное Тютчеву, должно казаться аномалией, но такими аномалиями полна история нашего русского общественного роста. На французском языке пришлось и Хомякову высказать свои заветнейшие убеждения о православии³⁵ — это драгоценнейшее творение русской мысли, русского верующего духа; на французском языке выражает и Тютчев русское историческое самосознание... Читая его, зная все обстоятельства его жизни, только дивишься силе, упругости русского чувства и русского гения и еще более веришь в великое мировое предназначение России.

Обратимся теперь к Тютчеву — как стихотворцу и как публицисту.

IV

Тютчев принадлежал, бесспорно, к так называемой пушкинской плеяде поэтов. Не потому только, что он был им всем почти сверстником по летам, но особенно потому, что на его стихах лежит тот же исторический признак, которым отличается и определяется поэзия этой эпохи. Он родился, как мы уже сказали, в 1803 году, следовательно, в один год с поэтом Языковым, за несколько месяцев до Хомякова, за два года до Веневитинова, пять лет спустя после Дельвига, четыре года после Пушкина, три после Баратынского, — одним словом, в той замечательной на Руси полосе времени, которая была так обильна поэтами. Нельзя же, конечно, полагать, что такой период поэтического творчества настал совершенно случайно. Мы со своей стороны видим в нем необходимую историческую ступень в прогрессивном ходе русского просвещения. Известно, что вообще в истории человеческих обществ художественное откровение предваряет медленный рост сознательной мысли; творческая деятельность искусств, требуя еще не раздробленной цельности духа, предшествует аналитической работе ума. Нечто подобное видим мы и в поэзии, и особенно у нас, — разумея

здесь поэзию не как психическое начало, нераздельное с человеческой душой, и не как поэзию на степени народной песни, а как особый, высший вид искусства — искусство в слове, выражающееся в мерной речи или стихотворной форме. По особым условиям нашей исторической судьбы за последние полтора века на долю литературной поэзии, при слабом воздействии у нас науки, досталось высокое призвание быть почти единственной воспитательницей русского общества в течение довольно долгой поры. Сдвинутое реформой Петра с своих исторических духовных основ в водоворот чуждой духовной жизни, русское общество, как и понятно, утратило равновесие духа, «заторопилось жить и чувствовать» (по выражению князя Вяземского)³⁶, не выжидая, пока обучится, и рвалось обогнать тугой, по необходимости, рост своего просвещения. Можно сказать, что пламя поэзии вспыхнуло у нас от самых первых, слабых искр европейского знания, пользуясь готовой чужой стихотворной формой, и что даже первый свет сознательной деятельности в области науки возжегся нам рукой поэта: ибо поэтическое вдохновение окрылило в Ломоносове труды ученого. Затем ход самостоятельного нашего познания замедляется, но поэтический дух продолжает свою творческую работу в одиноком лице Державина. Однако и после него поэзия была только еще в начале своего поприща; еще не был даже покорен искусству самый его материал — слово. Раздались звуки поэзии Жуковского, Батюшкова и некоторых других, но не они были призваны к тому могучему и плодотворному властительству над умами, которое было суждено русской поэзии. Ей предстояло, силой высших художественных наслаждений, совершить в русском обществе тот духовный подъем, который был еще не под силу нашей школьной несамостоятельной науке, и ускорить процесс нашего народного самосознания. Ей, наконец, выпала историческая задача проявить, в данной стихотворной форме, все разнообразие, всю силу и красоту русского языка, возделывать его до гибкости и прозрачности, способной выражать наитончайшие оттенки мысли и чувства. Разработка слова в стихотворной форме имела, несомненно, свою великую важность. В этом отношении труды даже второстепенных, мелких наших стихотворцев не лишены исторического значения и заслуги. Можно возразить, что то же делали и прозаики... Конечно, так, но особенность поэзии и преимущество ее над прозой в том именно и состоят, что ей раскрывается тайна гармонии языка, что только поэзия властна из самых недр его извлечь тот музыкальный элемент (необходимо присущий каждому языку), который досказывает,

дополняет внешний смысл выражений, передает неуловимо речью то, что лишь чувствуется и ощущается, и то же в слове, что запах в цветах.

Таким образом, стихотворческой деятельности в России надлежало достигнуть до крайнего своего напряжения, развиться до апогея. Для этого необходимым был высший поэтический гений и целый сонм поэтических дарований. Станным может показаться, почему складывать речь известным размером и замыкать ее созвучиями становится, в данную эпоху, у некоторых лиц неудержимым влечением с самого детства. Ответ на это дает, по аналогии, история всех искусств. Когда, вообще, в духовном организме народа наступает потребность в проявлении какой-либо специальной силы, тогда, для служения ей, неисповедимыми путями порождаются на свет Божий люди с одним общим призванием, однако ж со всем разнообразием человеческой личности, с сохранением ее свободы и всей видимой, внешней случайности бытия. Поэтическому творчеству в новой у нас мерной речи суждено было стать в России на историческую чреду, — и вот, в урочный час, словно таинственной рукой раскидываются по воздуху семена нужного таланта, и падут они, как придется, то на Молчановке в Москве³⁷ на голову сына гвардии капитан-поручика Пушкина, который уже так и родится с неестественной, по-видимому, склонностью к рифмам, хорям и ямба, то в тамбовском селе Маре на голову какого-нибудь Баратынского, то в брянском захолустье на Тютчева, которого отец и мать никогда и не пробовали услаждать своего слуха звуками русской поэзии.

Очевидно, что в этих, равно и в других, им современных, поэтах стихотворство, бессознательно для них самих, было исполнением не только их *личного*, но и *исторического* призвания эпохи. В самых мелких своих проявлениях оно уже имеет у них вид какого-то священнодействия. Вот почему оно и отличается от поэтической деятельности позднейшего периода совершенно особым характером поэзии, — как самостоятельного явления духа, поэзии бескорыстной, самой для себя, свободной, чистой, не обращенной в средство для достижения посторонней цели, — поэзии, не знающей тенденций. Их стихотворная форма дышит такой свежестью, которой уже нет и быть не может в стихотворениях позднейшей поры; на ней еще лежит недавний след победы, одержанной над материалом слова; слышится торжество и радость художественного обладания. Их поэзия и самое их отношение к ней запечатлены *искренностью*, — такой искренностью, которой лишена поэзия нашего времени: это как

бы еще *вера* в искусство, хотя бы и несознанная. Такой период искренности, по нашему крайнему разумению, повториться едва ли может. Вот уже триста пятьдесят лет сряду сотни художников чуть не ежедневно изучают «манеру» Рафаэля; краски усовершенствованы, технические приемы облегчены; но, несмотря на даровитость и горячее усердие этих художников, все их усилия перенять его манеру тщетны и пребудут тщетны; невозможно им усвоить себе ту искренность, то *простодушие* творчества, которыми веет от созданий Рафаэля, подобно тому, как невозможно человеку XIX века стать человеком XVI... Это не значит, чтоб мы отвергали всякую будущность для искусства. Бесконечное развитие человеческого духа может явить еще новые, неведомые его стороны; может возникнуть новое, высшее единство духа, обретется новая цельность, аналитический процесс мысли разрешится, быть может, в синтезе³⁸; наконец, новые народы принесут с собой новые виды художеств. Всего этого мы, конечно, не отрицаем; но мы разумеем здесь известное *историческое* проявление искусства, и никто не станет спорить, что, например, греческое искусство, оставаясь, по своему значению, бессмертным мировым двигателем в истории человеческого просвещения, тем не менее отжило свой век, как отжила его и сама Эллада. Но возвратимся к судьбе русской поэзии.

Стихотворная форма, сделавшись впоследствии общим достоянием, явилась и богаче и разнообразнее в техническом отношении. Можно привести тысячи новейших стихов несравненно сильнее и звучнее, например, стихов «Евгения Онегина»; но преимущество прелести, — прелести, неуловимой никаким анализом, независимой от содержания, — вечно пребудет за любимыми стихами Пушкина и других некоторых поэтов этого поэтического периода: от них никогда не отыметя свежесть формы и искренность творчества, как их историческая печать. Пушкин имел полное право сказать в следующих прекрасных стихах, столько осмеянных новейшей петербургской критикой позитивистской школы³⁹:

Не для житейского волненья,
 Не для корысти, не для битв:
 Мы рождены для вдохновенья,
 Для звуков сладких и молитв⁴⁰.

Эти «сладкие звуки» были нужны, были серьезным, *необходимым, историческим*, а потому в высшей степени полезным делом. Вот чего, в своей близорукости, и не понимает эта критика, неспособная стать на историческую точку зрения, при-

лагающая к нашим великим поэтам прошлой эпохи мерило злости нынешнего дня и осуждающая их именно за то, что они были только поэты, художники, а не политические и социальные деятели в духе новейших, быстро меняющихся доктрин и теорий.

На рубеже этого периода искренности нашей поэзии стоит Лермонтов. По непосредственной силе таланта он примыкает ко всему этому блестящему созвездию поэтов, однако же стоит особняком. Его поэзия резко отделяется от них отрицательным характером содержания. Нечто похожее (хотя мы и не думаем их сравнивать) видим мы в Гейне, замкнувшем собой цикл поэтов Германии⁴¹. От отрицательного направления до тенденциозного, где поэзия обращается в средство и отодвигается на задний план, един только шаг. Едва ли он уже не пройден. На стихотворениях нашего времени уже не лежит, кажется нам, печати этой *исторической необходимости* и искренности, потому что самая историческая миссия стихотворства, как мы думаем, завершилась. Они могут быть, они и действительно более или менее талантливы, но или звучат как отголоски знакомого прошлого, уже лишённые прежнего обаяния, или же преисполнены внешних, чуждых искусству тенденций.

Впрочем, при ненормальном ходе русского общественного развития, ввиду того, что наше просвещение далеко не выражает жизни нашего народного духа, что не все струны народной души прозвучали, что самая стихотворная наша форма была и есть заемная, — может быть, для русской поэзии еще настанет период возрождения в новой, неведомой доселе, своеобразной, более народной форме. Может быть: это не несомненная надежда, а только гадание.

Стихи Тютчева представляют тот же характер внутренней искренности и необходимости, в котором мы видим исторический признак прежней поэтической эпохи. Вот почему он и должен быть причислен к пушкинскому периоду, хотя, по особенной случайности, его стихи проникли в русскую печать уже тогда, когда почти отзвучали песни Пушкина и прочих наших поэтов, когда время властительства поэзии над умами уже миновало. Десятками лет пережил Тютчев и Пушкина, и весь его поэтический период, но оставался верен себе и своему таланту. Не переставая быть «современнейшим из современников» по своему горячему сочувствию к совершающейся кругом его жизни, он, среди диссонансов новейшей поэзии, продолжал дарить нас гармонией старинного, но никогда не стареющего, поэтического строя. Он был среди нас подобно мастеру какой-либо

старой живописной школы, еще живущей и творящей в его лице, но не допускающей ни повторения, ни подражания.

Отметив эту общую историческую черту его поэзии, перейдем теперь к особенностям его таланта.

Стихи Тютчева отличаются такой *непосредственностью творчества*, которая, в равной степени по крайней мере, едва ли встречается у кого-либо из поэтов. Поэзия не была для него сознанный специальностью, своего рода литературным Fach*, как выражаются немцы, общественным, официальным положением или же такой обязанностью, которую и сам поэт невольно признает за собой, признают и другие за ним; напротив, до 1836 года, как уже было сказано, никто в нем и не признает поэта, т^о е^{сть} до той поры, как служивший в Мюнхене князь Иван Гагарин, собрав целую тетрадь его стихотворений, привез ее к Пушкину⁴², и Пушкин дал им место в своем «Современнике», хотя и без подписи полного имени Тютчева. С 1840 года его стихи снова перестают появляться в печати, и такое воздержание от печатной гласности продолжается четырнадцать лет, в течение которых Тютчев не напечатал ни строчки, хотя и не переставал писать. Но как писать? На вопрос: «Над чем вы теперь работаете?» — он не мог бы отвечать, подобно другим: «Пишу стихи: вчера кончил стихотворение к Аглае, сегодня доделаю Огнедышащую гору; имею намерение обработать в стихах такой-то сюжет». Он был поэт по призванию, которое было могущественнее его самого, но не по *профессии*. Он священнодействовал как поэт, но не замечая, не сознавая сам своего священнодействия, не облакаясь в жреческую хламиду, не исполняясь некоторого благоговения к себе и своему жречеству. Его ум и его сердце были, по-видимому, постоянно заняты: ум витал в области отвлеченных, философских или исторических помыслов; сердце искало живых ощущений и тревожных; но прежде всего и во всем он был поэт, хотя собственно стихов он оставил по себе сравнительно и не очень много. Стихи у него не были плодом *труда*, хотя бы и вдохновенного, но все же труда, подчас даже усидчивого у иных поэтов. Когда он их писал, то писал невольно, удовлетворяя настоящей, неотвязчивой потребности, потому что он не мог их не написать: вернее сказать, он их не писал, а только *записывал*. Они не *сочинялись*, а *творились*. Они сами собой складывались в его голове, и он только ронял их на бумагу, на первый попавшийся лоскуток. Если же некому было припрятать к месту обронен-

* Специальность, профессия, область занятий (нем.). — Ред.

ное, подобрать эти лоскутки, то они нередко и пропадали. Эти-то лоскутки и постарался подобрать князь И. Гагарин, когда вздумал показать стихи Тютчева Пушкину; но очень может быть, что многое пропало и истребилось безвозвратно. К Тютчеву именно применяются слова гетевского певца:

Ich singe wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnt;
Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet*.

В самом деле, в чем же состояла *награда*, Lohn, певца-Тютчева во время его 22-х летнего пребывания за границей, как не в самой спетой песне, никем, кроме его, не слышимой? Условием всякого преуспеяния таланта считается сочувственная среда, живой обмен впечатлений. А Тютчеву четверть века приходилось петь как бы в безвоздушном пространстве. Когда читаешь, например, его стихи, писанные к первой жене и к другим иностранкам, ни слова не знавшим по-русски, да едва ли подозревавшим в нем поэта, невольно спрашиваешь себя: для чего же и для кого он писал? Уже гораздо позднее, в России, когда подросли его дочери и вторая его супруга выучилась по-русски, стали тщательно наблюдать за ним и подбирать лоскутки с его стихами, а иногда и записывать стихи прямо под его диктовку. Так однажды, в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на извозчичьих дрожках, почти весь промокший, он сказал встретившей его дочери: «J'ai fait quelques rimes» **, и пока его раздевали, продиктовал ей следующее прелестное стихотворение:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,
Льетесь, как льются струи дождевые,
В осень глухую, порою ночной...

Здесь почти нагляден для нас тот истинно-поэтический процесс, которым внешнее ощущение капель частого осеннего дождя, лившего на поэта, пройдя сквозь его душу, претворяется

* В русском переводе К. С. Аксакова:

Пою, как птица волен, я,
Что по ветвям летает,
И песнь свободная моя
Богато награждает.

** Я сочинил несколько стихов (фр.). — Ред.

в ощущение слез и облекается в звуки, которые, сколько словами, столько же самой музыкальностью своей, воспроизводят в нас и впечатление дождливой осени, и образ плачущего людского горя... И все это в шести строчках!

Еще более объяснится нам характер его поэтического творчества, когда мы припомним, что этот человек, по его собственному признанию, тверже выражал свою мысль по-французски, нежели по-русски, свои письма и статьи писал исключительно на французском языке и, конечно, на девять десятых более говорил в своей жизни по-французски, чем по-русски. А между тем стихи у Тютчева творились *только по-русски*⁴³. Значит, из глубочайшей глубины его духа была ключом у него поэзия, из глубины, недостижимой даже для его собственной воли; из тех тайников, где живет наша первообразная природная стихия, где обитает самая правда человека... Здесь кстати привести то, что сам Тютчев высказал уже в 1861 году, в стихах на юбилей князя Вяземского, по поводу «музы» этого замечательного в своем роде поэта:

Давайте ж, князь, поднимем в честь богини
Ваш полный пенный фиал,
Богине в честь, хранившей благородно
Залог всего, что свято для души,
Родную речь...

Тютчев мог еще с большим основанием обратить это воззвание к своей собственной музе.

Само собой разумеется, что при подобном процессе творчества Тютчев не способен был ничего творить в обширном размере. Поэтому самые лучшие его стихотворения — короткие; они цельны, словно отлиты из одного куска чистого золота. В его таланте, как уже и замечено было нашими критиками, нет никаких эпических или драматических начал. Его поэзия, как выразились бы немецкие эстетики, вполне *субъективна*; ее повод — всегда в личном ощущении, впечатлении и мысли; она не способна отрешаться от личности поэта и гостить в области вымысла, в мире внешнем, отвлеченном, чуждом его личной жизни. Он ничего не выдумывал, а только *выражался*. Он не был тем *maestro*, тем художником-*хозяином* в поэзии, каким, например, является Пушкин, этот полновластный распорядитель звуков и форм, разнообразно направлявший силы своего гения по указанию своей свободной поэтической воли, умевший творить не одним мгновенным наитием вдохновения, но и медленным вдохновенным трудом. Да и у всех поэтов, рядом с непо-

средственным творчеством, слышится *делание*, обработка. У Тютчева деланного нет ничего: все творится. Оттого нередко в его стихах видна какая-то внешняя небрежность: попадают слова устарелые, вышедшие из употребления, встречаются неправильные рифмы, которые, при малейшей наружной отделке, легко могли бы быть заменены другими.

Этим определяется и отчасти ограничивается его значение как поэта. Но это же придает его поэзии какую-то особенную прелесть задушевности и личной искренности. Хомяков — сам лирический стихотворец — говорил и, по нашему мнению, справедливо, что не знает других стихов, кроме тютчевских, которые бы служили лучшим образом *чистойшей* поэзии, которые бы в такой мере, насквозь, *durch und durch*, были проникнуты поэзией*.

Мы разумеем здесь, конечно, лучшие произведения Тютчева, те, которыми характеризуется его стихотворчество, а не те, которые, уже в позднейшее время, он иногда заставлял писать себя на известные случаи вследствие обращенных к нему требований и ожиданий. Замечательно, что в стихотворениях его самой ранней молодости нет почти вовсе той свободы творчества, которой мы так любуемся в его поэзии. Это особенно видно в тех пьесах, которые, хотя и были напечатаны в двадцатых годах, однако же не включены в полное собрание его стихотворений. В них встречаются условные приемы, обороты и выражения тогдашней псевдоклассической школы, например:

И мне ль, друзья, сей гимн веселый
Мне ль петь на лире онемелой? и т. д. —

одним словом — что-то тяжелое, принужденное, совершенно чуждое позднейшим свойствам его поэзии. Вероятно, Тютчев еще находился тогда под некоторым влиянием или подражал

* Вот, между прочим, что писал Хомяков из Москвы в Петербург⁴⁴ Александру Николаевичу Попову в 1850 году: «Видите ли Ф. И. Тютчева? Разумеется, видите. Скажите ему мой поклон и досаду многих за его стихи. Все в восторге от них и в негодовании на него. Не стыдно ли молчать, когда Бог дал такой голос? Если он вздумает оправдываться и ссылаться, пожалуй, на меня, скажите ему, что это не дело. Без притворного смирения, я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, т<о> е<сть> прозатор везде проглядывает и, следовательно, должен наконец задушить стихотворца. Он же насквозь поэт (*durch und durch*), у него не может иссякнуть источник поэтический. В нем, как в Пушкине, как в Языкове, натура античная в отношении к искусству...»

приемам своих недавних учителей, Раича и Мерзлякова. Но через несколько лет по переезде за границу он как будто стряхнул с себя путы русской эстетики того времени и сбросил навязанное ему звание «певца». Он перестает сочинять и печатать, отказывается от притязаний на авторство, но тут-то и является, внезапно, поэт: его творчество обрело свободу, он стал самим собою.

Стихи Тютчева не выдаются особенно бойкостью, наружной красотой, силой и звучностью; но взамен этих качеств они отличаются совершенно своеобразной фактурой; их мелодичность не похожа на музыкальный строй, если не одинаковый, то довольно общий у прочих наших поэтов. Что особенно пленяет в поэзии Тютчева, это ее необыкновенная грация, не только внешняя, но еще более внутренняя. Все жесткое, резкое и яркое чуждо его стихам; на всем художественная мера; все извне и изнутри, так сказать, обвеяно изяществом. Самое вещество слова как бы теряет свою вещественность, которой именно так любят играть и щеголять некоторые поэты, которая составляет своего рода специальную красоту в стихах, например, Языкова. Вещество слова у Тютчева как-то одухотворяется, становится прозрачным. Мыслью и чувством трепещет вся его поэзия. Его музыкальность не в одном внешнем гармоническом сочетании звуков и рифм, но еще более в гармоническом соответствии формы и содержания.

Почти все стихотворения Тютчева равно грациозны и музыкальны, но приведем теперь для примера хоть некоторые из них, где это свойство его поэзии, при относительной незначительности содержания, выступает, так сказать, на первый план.

Вот, например, одно из самых молодых стихотворений, уже упомянутое нами, написанное, может быть, лет 45 тому назад и внушенное ему 16-летней красавицей⁴⁵ за границей:

Я помню время золотое,
 Я помню сердцу милый край.
 День вечерел, мы были двое;
 Внизу, в тени, шумел Дунай.
 И на холму, там, где белея
 Руина замка вдаль глядит,
 Стояла ты, младая фея,
 На мшистый опершись гранит,
 Ногой младенческой касаясь
 Обломков груды вековой...
 И солнце медлило, прощаясь
 С холмом, и с замком, и с тобой.

Ты беззаботно вдаль глядела.
 Край неба дымно гас в лучах.
 День догорал; звучнее пела
 Река в померкших берегах.
 И ты с веселостью беспечной
 Счастливый провожала день,
 И сладко жизни быстротечной
 Над нами пролетала тень.

Как грациозна эта картина летнего вечера и молодой девушки у развалин старого замка, озаренной догорающими лучами солнца, — какая мягкость тонов и нежность колорита! С трудом верится, что это стихотворение, — написанное, если не ошибаемся, в ранней молодости, — принадлежит поэту, который еще незадолго перед тем, под влиянием образцов так называемой русской классической поэзии, считал себя обязанным петь в важном и напыщенном тоне и добровольно сковывал свое творчество, пока не махнул рукой на «сочинительство», на печать и на всякую авторскую славу. А вот другое, из позднейшей поры, написанное уже в шестидесятых годах; вот в каком легком и изящном образе выражено им нравственное изнеможение:

О, этот Юг, о, эта Ницца,
 О, как их блеск меня тревожит!
 Мысль, как подстреленная птица,
 Подняться хочет и не может;
 Нет ни полета, ни размаху,
 Висят подломанные крылья,
 И вся дрожит, прижавшись к праху,
 В сознаньи грустного бессилья...

Впрочем, трудно выбрать стихотворение, которое служило бы примером только одной грациозности. Это свойство его поэзии неразлучно с каждым проявлением его поэтического творчества, как увидит далее и сам читатель.

Но где Тютчев является совершенным мастером, мало имеющим себе подобных, это в изображении картин природы. Нет, конечно, сюжета более избитого стихотворцами всего мира. К счастью, сам сюжет, т<о> е<сть> сама природа, от этого несколько не опошливается, и ее действие на дух человеческий не менее неотразимо. Сколько бы тысяч писателей ни пыталось передать нам ее язык, — всегда и вечно он будет звучать свежо и ново, как только душа поэта станет в прямое общение с душой природы. Оттого и картины Тютчева исполнены такой же бессмертной красоты, как бессмертна красота самой природы.

Вообще, верность изображения не только того, что зовется «природой», но и всякого предмета, явления и даже ощущения заключается вовсе не в обилии подробностей, вовсе не в аккуратной передаче всякой, даже самой мелкой черты, вовсе не в той фотографической точности, которой так хвалятся художники-реалисты позднейшего времени. Многие из наших новейших писателей любят кокетничать наблюдательностью и, думая изобразить чью-либо физиономию, перечисляют углы и изгибы рта, губ, носа, чуть не каждую бородавку на лице; если же рисуют быт, то с неумолимой отчетливостью передают каждую ничтожную частность, иногда совершенно случайную, зыбкую, вовсе не типичную... Они только утомляют читателя и нисколько не уловляют внутренней правды. Истинный художник, напротив того, изо всех подробностей выберет одну, но самую характерную; его взор тотчас угадывает черты, которыми определяется весь внешний и внутренний смысл предмета и определяется так полно, что остальные черты и подробности сами уже собой досказываются в воображении читателя. Воспринимая впечатление от наружности ли человеческой, от иных ли внешних явлений, мы прежде всего воспринимаем это впечатление непосредственно, еще без анализа, еще не успевая, да иногда и не задаваясь трудом изучить и разобрать все соотношения линий и всю игру мускулов в физиономии или же все формы и движения частей, составляющих, например, картину природы. Следовательно, художественная задача — не в том, чтоб сделать рабский снимок с натуры (что даже и невозможно), а в *воспроизведении того же именно впечатления*, какое произвела бы на нас сама живая натура. Это уменье передавать несколькими чертами всю целостность впечатления, всю реальность образа требует художественного таланта высшей пробы и принадлежит Тютчеву вполне, особенно в изображениях природы. Кроме Пушкина, мы даже не можем и указать кого-либо из прочих наших поэтов, который бы владел этой способностью *в равной мере* с Тютчевым. Описания природы у Жуковского, Баратынского, Хомякова, Языкова иногда прекрасны, звучны и даже верны, — но это именно описание, а не *воспроизведение*. У некоторых, впрочем, позднейших поэтов, у Фета и у Полонского, местами попадаются истинно художественные черты в картинах природы, но только местами. Вообще же, в своих описаниях, большая часть стихотворцев ходит возле да около; редко-редко удается им схватить самый существенный признак явлений. Приведем в доказательство следующее стихотворение Тютчева:

Есть в осени первоначальной
 Короткая, но дивная пора:
 Весь день стоит как бы хрустальный
 И лучезарны вечера.
 Где бодрый серп ходил и падал колос,
 Теперь уж пусто все: простор везде, —
 Лишь паутины тонкий волос
 Блестит на праздной борозде.
 Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
 Но далеко еще до первых зимних бурь,
 И льется чистая и тихая лазурь
 На отдыхающее поле.

Здесь нельзя уже ничего прибавить; всякая новая черта была бы излишня. Достаточно одного этого «тонкого волоса паутины», чтоб одним этим признаком воскресить в памяти читателя былое ощущение подобных осенних дней во всей его полноте.

Или вот это стихотворение, — другая сторона осени:

Есть в светлости осенних вечеров
 Умильная, таинственная прелесть:
 Зловещий блеск и пестрота дерев,
 Багряных листьев томный, легкий шелест;
 Туманная и тихая лазурь
 Над грустно-сиротеющей землею,
 И как предчувствие осенних бурь,
 Порывистый, холодный ветер порою.
 Ущерб, изнеможенье, и на всем
 Та кроткая улыбка увяданья,
 Что в существе разумном мы зовем
 Возвышенной стыдливостью страданья...

Не говоря уже о прекрасном грациозном образе «стыдливого страданья», — образе, в который претворилось у Тютчева ощущение осеннего вечера, самый этот вечер воспроизведен такими точными, хоть и немногими чертами, что будто сам ощущаешь и переживаешь всю его жуткую прелесть.

Этот мотив повторен Тютчевым и в другой пьесе, но образ осени умильнее, нежнее и сочувственнее:

Обвеян вещею дремотой,
 Полураздетый лес грустит;
 Из летних листьев разве сотый,
 Блестя осенней позолотой,
 Еще на ветке шелестит.
 Гляжу с участием умиленным,
 Когда, пробившись из-за туч,
 Вдруг по деревьям испещренным

Молниевидный брызнет луч...
 Как увядающее мило,
 Какая прелесть в нем для нас,
 Когда что так цвело и жило,
 Теперь так немощно и хило
 В последний улыбнется раз.

Нам особенно нравятся первые пять стихов, нравятся именно своей простотою («из летних листьев разве сотый») и правдою.

Такая же истина и в этой картине осени:

.....
 Так иногда осенью порой,
 Когда поля уж пусты, рощи голы,
 Бледнее небо, пасмурнее доли, —
 Вдруг ветер подует, теплый и сырой,
 Опавший лист погонит пред собою,
 И душу вам обдаст как бы весною...

Именно *теплый* и *сырой* ветер. Это именно то, что *нужно*. Кажется, какие незатейливые слова, но в этом-то и достоинство, в этом-то и прелесть: они просты, как сама правда.

Здесь кстати заметить, что точность и меткость качественных выражений или эпитетов — важное, необходимое условие художественной красоты в поэзии. Пушкин, как истинный художник, выше всего ценил эту точность и не успокаивался, пока не найдет выражения самого соответственного, и потому самого простого. В этом отношении нет ему равных. В письмах Пушкина к князю Вяземскому (в «Русском архиве» 1874 года) есть его разбор стихотворения князя «Водопад». Этот разбор может служить образцом художнической требовательности Пушкина⁴⁶. На вопрос: что думает он о «Думах» и поэмах, вообще обо всем множестве стихов Рылеева, Пушкин, еще в начале двадцатых годов, отвечает только: «Там есть у него палач с *засученными руками*, за которого я бы дорого дал»⁴⁷. Ему понравилась меткость этой характеристичной подробности и живописная простота выражения. Уменье уловить самую существенную черту явления или предмета, — о чем мы говорили выше, — тесно связывается, конечно, с уменьем выбрать, из массы качественных слов в языке, самое определительное, бьющее прямо в цель, сразу овладевающее предметом, захватывающее его живьем. Чем эпитеты точнее, тем они проще⁴⁸. Казалось бы, это и не так трудно, — а между тем для этого потребна и особенная художественная зоркость, и особенная чуткость в отношении к языку. Кроме Пушкина, — как мы уже сказа-

ли, — только поэзия Тютчева и отчасти Лермонтова обладает этим даром точных эпитетов в высокой степени; у других наших поэтов он замечается лишь местами, довольно редко. Их эпитеты более описательного, чем определительного свойства; или слишком фигурны, вычурны и нарядны, или же являются каким-то внешним щегольством языка, радующим самого автора, а не простой, необходимой, спокойной принадлежностью самого предмета*. К тому же у Тютчева эта меткость качественных определений простирается не на одни предметы внешнего мира, как и увидим ниже.

Вот еще несколько примеров изображения природы у Тютчева; мы поставили курсивом те именно выражения, которые нам кажутся художественно-точными и простыми:

ПОЛДЕНЬ

*Лениво дышит полдень мгlistый,
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.
И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет,
И сам теперь великий Пан
В чертоге нимф спокойно дремлет.*

Здесь это одно «лениво тают» стоит всякого длинного подробного описания.

Или вот это выражение:

Не остывшая от зною
Ночь июльская блистала...

Один из критиков поэзии Тютчева⁵⁰, поэт Некрасов, в статье, напечатанной еще в 1850 году, любуясь простотой и краткостью следующего стихотворения, сравнивает его с однородным стихотворением Лермонтова. Вот стихи Тютчева:

Песок сыпучий по колени...
Мы едем — поздно — меркнет день,
И сосен, по дороге, тени
Уже в одну слилися тень.
Черней и чаще бор глубокий...
Какие грустные места!

* О тех же стихотворцах, которые ради точности прибегают чуть не к технической терминологии (напр<имер>, Бенедиктов в описании Кавказских гор⁴⁹), мы не считаем здесь нужным и упоминать.

Ночь хмурая, как зверь стокий,
Глядит из каждого куста!

У Лермонтова:

И миллионом темных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста.

«Кто не согласится, — говорит г. Некрасов, и мы с ним совершенно согласны, — что эти похожие строки Лермонтова значительно теряют в своей оригинальности и выразительности».

Вот картина летней бури:

Как весел грохот летних бурь,
Когда взметая прах летучий,
Гроза нахлынувшая тучей
Смутит небесную лазурь,
И опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набежит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно.

.....

И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышен птичий свист,
И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу.

Ради простоты и точности очертаний приведем еще два отрывка:

ДОРОГА ИЗ КЕНИГСБЕРГА В ПЕТЕРБУРГ⁵¹

Родной ландшафт под дымчатым навесом
Огромной тучи снеговой;
Синеет даль с ее угрюмым лесом,
Окутанным осенней мглой.
Все голо так, и пусто, необъятно
В однообразии немом;
Местами лишь просвечивают пятна
Стоячих вод, покрытых первым льдом...
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья,
Жизнь отошла, и, покорясь судьбе,
В каком-то забытьи изнеможенья,
Здесь человек лишь снится сам себе...

Здесь не только внешняя верность образа, но и вся полнота внутреннего ощущения.

РАДУГА⁵²

Как неожиданно и ярко
 По влажной неба синеве
 Воздушная воздвиглась арка
 В своем минутном торжестве.
 Один конец в леса вонзила,
 Другим за облака ушла;
 Она полнеба обхватила
 И в высоте изнемогла...

Изнемогла! Выражение не только глубоко верное, но и смелое. Едва ли не впервые употреблено оно в нашей литературе в таком именно смысле. А между тем нельзя лучше выразить этот внешний процесс постепенного таяния, ослабления, исчезновения радуги. Еще г. Тургенев заметил, что «язык Тютчева часто поражает смелостью и красотой своих оборотов»⁵³. Нам кажется, что, независимо от таланта, эта смелость может быть объяснена отчасти и обстоятельствами его личной жизни. Русская речь служила Тютчеву, как мы уже упомянули, только для стихов, никогда для прозы, редко для разговоров, так что самый материал искусства — русский язык — сохранился для него в более целостном виде, не искаженном через частое употребление. Многое, что могло бы другим показаться смелым, ему самому казалось только простым и естественным. Конечно, от такого отношения к русской речи случались подчас синтаксические неправильности, вставлялись выражения, уже успевшие выйти из употребления; но зато иногда, силой именно поэтической чуткости, добывал он из затаенной в нем сокровищницы родного языка совершенно новый, неожиданный, но вполне удачный и верный оборот или же открывал в слове новый, еще не подмеченный оттенок смысла.

Трудно расстаться с картинами природы в поэзии Тютчева, не выписав еще несколько примеров. Вот его «Весенние воды», — но сначала для сравнения приведем «Весну» Баратынского, в которой встречаются стихи очень схожие. Баратынский:

Весна, весна! Как воздух чист,
 Как ясен небосклон;
 Своей лазурию живой
 Слепит мне очи он.
 Весна, весна! как высоко
 На крыльях ветерка,
 Ласкаясь к солнечным лучам,
 Летают облака.

Шумят ручьи! блестят ручья!
 Взревев, река несет
 На торжествующем хребте
 Поднятый ею лед!
 Под солнце самое взвился
 И в яркой вышине
 Незримый жавронок поет.
 Заздравный гимн весне.
 Что с нею, что с моей душой?
 С ручьем она ручей,
 И с птичкой птичка! С ним журчит,
 Летает в небе с ней⁵⁴.

Далее следуют еще две строфы совершенно отвлеченного содержания — о душе, и стихи довольно тяжелые.

Тютчев:

Еще в полях белеет снег,
 А воды уж весной шумят,
 Бегут и будят сонный брег,
 Бегут и блещут и гласят, —
 Они гласят во все концы:
 «Весна идет! Весна идет!
 Мы молодой весны гонцы,
 Она нас выслала вперед!»
 Весна идет, весна идет!
 И тихих, теплых майских дней
 Румяный, светлый хоровод
 Толпится весело за ней...

Эти стихи так и обдают чувством весны, молодым, добрым, веселым. Они и короче, и живее стихов Баратынского*. Вот отрывок из другого стихотворения, которое можно бы назвать «Пред грозой».

В душном воздухе молчанье,
 Как предчувствие грозы;
 Жарче роз благоуханье,
 Звонче голос стрекозы.

* Г. Некрасов в своей статье («Современник», 1850 год) приводит для сравнения с этим стихотворением Тютчева «Весну» г. Фета:

Уж верба вся пушистая и проч., —

и приводит именно с тем, чтоб показать степень различия в мастерстве изображения. У г. Фета указывает он много прекрасных стихов, но рядом с ними, как и у Баратынского, много фигурного, отвлеченного или ненужного рассуждения. Вообще стихотворение очень длинно.

Чу! за белой душевной тучей
 Прокатился глухо гром,
 Небо молнией летучей
 Опоясалось кругом.
 Жизни некий преизбыток
 В знойном воздухе разлит,
 Как божественный напиток
 В жилах млеет и дрожит!..

Заклучим этот отдел поэзии Тютчева одним из самых молодых его стихотворений: «Весенняя гроза».

Люблю грозу в начале мая,
 Когда весенний, первый гром,
 Как бы резвяся и играя,
 Грохочет в небе голубом.
 Гремят раскаты молодые,
 Вот дождик брызнул, пыль летит:
 Повисли перлы дождевые,
 И солнце нити золотит.
 С горы бежит поток проворный,
 В лесу не молкнет птичий гам,
 И гам лесной, и шум нагорный,
 Все вторит весело громам.
 Ты скажешь: ветреная Геба,
 Кормя Зевесова орла,
 Громокипящий кубок с неба,
 Смеясь, на землю пролила.

Так и видится молодая, смеющаяся вверху Геба, а кругом влажный блеск, веселье природы и вся эта майская грозовая потеха. Это стихотворение было напечатано в «Галатее» еще в 1829 году, но такова странная судьба поэзии Тютчева, что оно не обратило тогда на себя ни малейшего внимания.

В ответных своих стихах к известному нашему поэту, г. Фету, Тютчев говорит:

Иным достался от природы
 Инстинкт пророчески слепой:
 Они им чуют, слышат воды
 И в темной глубине земной...
 Великой матерью любимый,
 Стократ завидней твой удел:
 Не раз под оболочкой зримой
 Ты самоё её узрел.

Этот последний стих справедливее отнести к самому Тютчеву; про него именно можно сказать, что ему было дано не раз

видеть природу не во внешней только оболочке, но её самой, обнаженной, без покровов.

Если бы — предположим — кто-нибудь, умеющий живо и тонко чувствовать художественные красоты в поэзии, стал читать в первый раз творения, — конечно, не Пушкина и даже не Лермонтова, а прочих наших поэтов, даже не зная их имен, — он, без сомнения, усладился бы вполне «пленительной сладостью»⁵⁵ Жуковского; он хоть на миг, может быть, воспламенился бы духом к высоким нравственным подвигам благодаря мужественному лиризму стихов Хомякова; ему бы доставили, конечно, утеху бодрые, звучные песни Языкова, где столько праздника, столько молодости, шири и удали; его душу проняла бы, вероятно, и страждущая тоска поэтических дум Баратынского; он нашел бы себе отраду и во многих других наших поэтах... Но если бы он, перелистывая эту сотню-другую тысяч стихов, вдруг случайно напал на любое из вышеприведенных стихотворений, вроде «Осени первоначальной» с ее «тонким волосом паутины», или «Весенних вод», или хоть «Радуги, *изнемогшей* в небе», — он невольно бы остановился; он по одному этому выражению, по одной этой мелкой, по-видимому, черте опознал бы тотчас настоящего *художника* и сказал бы вместе с Хомяковым: «Чистейшая поэзия — вот где». Такого рода художественной красоты, простоты и правды нельзя достигнуть ни умом, ни восторженностью духа, ни опытом, ни искусством: здесь уже явное, так сказать, голое поэтическое откровение, непосредственное творчество таланта.

Обратимся теперь к другой особенности стихотворений Тютчева: мы разумеем самое содержание поэзии, внутренний поэтической строй. Но здесь нам приходится сделать небольшое отступление.

Воспитание почти всех наших поэтов, особенно поэтов пушкинской плеяды, к несчастью, характеризуется совершенно верно собственными стихами Пушкина:

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь.

Все они (кроме Хомякова, конечно, который совершенно выделяется из этого сонма поэтов), при поверхностном образовании, возросли под сильным умственным и нравственным воздействием французской литературы и философии XVIII века. Но ошибочно было бы думать, что эта философия в самом деле породила у нас философов и вообще серьезных мыслителей; господствовала не сама философия, как свободно пытливая ра-

бота ума, а просто quasi-философское «вольнодумство», в самом обиходном и пошлом смысле этого слова; не философия как наука, а ее так называемый *дух*, т<о> е<сть> самое легкомысленное отрицание религиозных верований и идеалов, самое ветреное обращение с важнейшими вопросами жизни, упразднение не только строгости, но даже всякой серьезности в сфере нравственных отношений и понятий. Конечно, уже тогда начинало группироваться небольшое число очень молодых людей (напр<имер> Киреевские и другие) с иными запросами духа, с потребностью основательного знания; но их значение сказалось гораздо позднее. Мы уже отчасти характеризовали выше эпоху двадцатых годов, но почти не коснулись стороны общественно-го воспитания. Мы и теперь не намерены рассматривать ее подробно, — тем более что школа, через которую первоначально проходили наши поэты пушкинского периода, относится не к двадцатым годам, а к началу и первым двум десяткам лет нашего столетия. Но так как многие черты у обеих эпох одинаковы, то читателю нетрудно представить себе, какова была эта школа, если он постарается припомнить все рассказанное нами выше с времени отъезда Тютчева за границу. Считаем нужным только добавить, что хотя французское влияние вторглось к нам еще при Екатерине, во второй половине ее царствования, однако же на литературе, равно и на умственном движении ее времени лежит печать все-таки большей серьезности и важности, чем в позднейшую пору; люди екатерининских времен были грубее, но крепче, строже, ближе к русской народности; самый их разврат был крупен, но довольно односторонен и внешний, — менее легкомыслен, менее растлевающего свойства. С царствованием Александра I начинается более полное отчуждение от народа и более полное господство иностранной моды — и уже не в нарядах только, но в мыслях и воззрениях. Все становится изящнее, деликатнее, галантерейнее и как-то пошлее, если позволено будет так выразиться. Печать оригинальности на произведениях умственного творчества исчезает. События 12-го года встрясли несколько общественный дух, но и после 12-го года, и гораздо позднее состояние мысли философско-отвлеченной, направление литературное и эстетические воззрения представляются в виде истинно-жалком. Еще в 1819 году можно было в торжественных речах на торжественных литературных собраниях, из уст ученых авторитетов, слышать такие рассуждения: «Почтенные мужи! Пусть на цветущем поле нашей словесности режутся, в разнovidных группах, Амуры, Зефиры и *Фавны*... Птичка, свивающая гнездо на ближнем дереве, научила челове-

ка строить скромные сени из ветвей, она же научила его радоваться и воспевать свою радость. Отсюда происхождение — «Музыки и Поэзии» *. Правда, в то время уже началась реакция, и «господин Боало, честный Лафонтен, гений Корнеля и Сида, сии вечные образцы искусства» **, как выражались еще тогда с кафедры ученые наши авторитеты, одним словом, вся эта псевдоклассическая теория поэзии не тяготела более над умами наших юных поэтов, которые все были пылкими приверженцами так называемой «романтической школы». Но взамен господина Боало с компанией образцами для молодых певцов служили все же французские писатели: отчасти только Шенье, но предпочтительно Парни, пресловутый Парни, и другие представители эротической поэзии. Впоследствии Парни уступил было место Байрону, но Байрон был понят только с внешней своей стороны; да и мудрено было этому своеобразному историческому продукту английской нравственной, общественной почвы акклиматизироваться на русской. Нельзя не скорбеть душой при мысли, какова была та духовно-нравственная атмосфера, в которой приходилось распускаться и творить нашим поэтическим дарованиям. Стоит только заглянуть в новейшие биографические труды и исследования о детстве и молодости Пушкина... Можно было бы, кажется, задохнуться в этой гнилой атмосфере, если б ее несколько не освежали своим присутствием: Карамзин — этот «целомудренно-свободный дух», по выражению Тютчева, и Жуковский с «голубиной чистотой» своей поэзии ⁵⁷. Какие-то нанесенные ветром обрывки чужих, преимущественно французских доктрин, вкусов и нравов, при недостатке сколько-нибудь строгой науки, при отсутствии воспитательного начала гражданской общественной жизни, при разрыве с своими собственными народными и бытовыми преданиями: ни убеждений твердых, ни крепких нравственных основ — вот чем была, по крайней мере в значительной части, русская общественная среда. Велика заслуга наших поэтов уже в том, что они не только не погибли в этой растлевающей обстановке, но еще умели и сами вознестись над нею, — даровать и обществу силу подъема, и орудие воспитания в художественной красоте своих произведений. Конечно, при этом немало было растрчено даром богатства души, свежести чувства, времени... Нелегко было из «пи-

* См.: Труды Общества Люб<ителей> Рос<сийской> Слов<есности>. 1819 г. Речь на торжественном публичном заседании Мерзлякова ⁵⁶.

** Там же, статья одного из членов.

томцев Эпикура», «певцов пиров и сладострастья» — как они сами себя величали — выбраться целым на путь высшего поэтического творчества: для этого надобно было родиться Пушкиным. Приходится поистине изумляться упругости и мощи этого гения, который — не благодаря, а вопреки всем внешним условиям — успел в короткий срок своего поприща дойти до той художественной трезвости и полноты, какую явил он в позднейших своих творениях. Но то ли еще способен был дать нам этот великий художник, если б его воспитание было иное, если б сама окружающая жизнь могла сообщить его духу иное содержание? Как бы то ни было, но что вообще неприятно поражает в поэтах этой плеяды, рядом с яркой красотой форм, звуков и образов, особенно в первой половине их поэтической деятельности (у иных и во второй) — это не только напускной цинизм и хвостовство разгульной праздностью, не только нравственное легкомыслие, суетность, фривольность (*frivolité*), но некоторая, притом очевидная, скудость образования и бедность мысли, одним словом, пустота содержания.

Судьба Тютчева, как мы уже узнаем, была иная. Благодаря 22-летнему пребыванию в Германии он не испытал влияния ни французского философского материализма, ни русской тлетворной общественной среды. Впрочем, в нем не видать было и немца, а видна была лишь печать глубокой всесторонней образованности и замечательной возделанности ума и вкуса. Та же печать лежит и на его стихотворениях, — чем и выделяются они из произведений других русских поэтов.

Прежде всего, что бросается в глаза в поэзии Тютчева и резко отличает ее от поэзии ее современников в России — это совершенное отсутствие грубого эротического содержания. Она не знает их «разымчивого хмеля», не воспевает ни «цыганок» или «наложниц», ни ночных оргий, ни чувственных восторгов, ни даже нагих женских прелестей; в сравнении с другими поэтами одного с ним цикла, его муза может назваться не только скромной, но как бы стыдливой. И это не потому, чтобы психический элемент — «любовь» — не давал никакого содержания его поэзии. Напротив. Мы уже знаем, какое важное значение в его судьбе, параллельно с жизнью ума и высшими призывами души, должно быть отведено внутренней жизни сердца, — и эта жизнь не могла не отразиться в его стихах. Но она отразилась в них только той стороной, которая одна и имела для него цену, — стороной чувства, всегда искреннего, со всеми своими последствиями: заблуждением, борьбой, скорбью, раскаянием, душевной мукой. Ни тени цинического ликования, нескромно-

го торжества, ветреной радости: что-то глубоко-задушевное, тоскливо-немогущее звучит в этом отделе его поэзии. Мы уже довольно говорили об этом выше, очерчивая его личный нравственный образ, и привели несколько его стихов. Чтобы еще точнее определить мотив любви в его поэзии, приведем еще некоторые наиболее характеристические пьесы, хоть в отрывках. Вот, например:

Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови —
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви.
Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой,
Огня палящего не скроешь
Под легкой девственной фатой.
Поэт всесилен, как стихия,
Не властен лишь в себе самом...
Невольню кудри молодые
Он обожжет своим венцом.
Вотще поносит или хвалит
Поэта суетный народ:
Он не стрелю сердце жалит,
А как пчела его сосет.
Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но мимоходом жизнь задушит
Иль унесет за облака.

В другом стихотворении он говорит:

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел, спроси и сведай,
Что уцелело от нея?..
И что ж от долгого мученья
Как пепл сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!
О, как убийственно мы любим, и пр.

Или вот следующее стихотворение:

Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с душой родной,

Их съединенье, сочетание,
 И роковое их слиянье,
 И поединок роковой.
 И чем одно из них нежнее
 В борьбе неравной двух сердец,
 Тем неизбежней и вернее,
 Любя, страдая, грустно млея,
 Оно изноет наконец...

Укажем еще на пьесы: «С какою негою, с какой тоской влюбленной», «Последняя любовь», «Я очи знал, о эти очи», «О не тревожь меня укорой справедливой» и т. д. Если мы вспомним затем следующие стихи, которыми, будто заключительным аккордом, повершается весь этот отдел стихотворений «не властного в себе самом» поэта, именно:

Пускай страдальческую грудь
 Волнуют страсти роковые;
 Душа готова, как Мария,
 К ногам Христа навек прильнуть, —

то мы будем иметь полное понятие об этом мотиве его поэзии.

Но самое важное отличие и преимущество Тютчева — это всегда неразлучный с его поэзией элемент мысли. Мыслью, как тончайшим эфиром, обвеяно и проникнуто почти каждое его стихотворение. Большей частью мысль и образ у него нераздельны. Мыслительный процесс этого сильного ума, свободно проникавшего во все глубины знания и философских соображений, в высшей степени замечателен. Он, так сказать, *мыслил образами*. Это доказывается не только его поэзией, но даже его статьями, а также и его изречениями или так называемыми *mots* или *bons mots* *, которыми он прославился в свете едва ли не более, чем стихами. Все эти *mots* были не иное что, как ироническая, тонкая, нередко глубокая мысль, отлившаяся в соответственном художественном образе. Мысль в его стихотворениях вовсе не то, что у Хомякова или у Баратынского. Поэтические произведения Хомякова — это как бы отрывки целой, глубоко обдуманной, исторически-философской или нравственно-богословской системы. Искренность убеждения, возвышенность духовного строя, жар одушевления придают многим его стихотворениям силу увлекательную. Но если мысль его способна восходить до лиризма, все же она, втиснутая в рифмы и размер, в рамки стихотворения, не вмещается в них, перевешивает художественную форму в ущерб себе и ей; художествен-

* остроты (фр.). — Ред.

ная форма ее теснит и сама насилуется. Читая его стихи, вы забываете о художнике и имеете в виду высоконравственного мыслителя и проповедника. Впрочем, это сознавал и сам Хомяков, как мы видели из вышеприведенного его письма к А. Н. Попову о Тютчеве. Что же касается до Баратынского, этого замечательного оригинального таланта, то его стихи бесспорно умны, но, — так нам кажется, по крайней мере, — это ум — остуживающий поэзию. В нем немало грации, но холодной. Его стихи согреваются только искренностью тоски и разочарования. Пушкин недаром назвал его Гамлетом⁵⁸; у Баратынского чувство всегда мыслит и рассуждает. Там же, где мысль является отдельно как мысль, она, именно по недостатку цельности чувства, по недостатку жара в творческом горниле поэта, редко сплавляется в цельный поэтический образ. Он трудно ладит с внешней художественной формой; мысль иногда торчит сквозь нее голая, и рядом с прекрасными стихами попадают стихи нестерпимо тяжелые и прозаические (например, его «Смерть»). Исключения составляют три-четыре истинно превосходных стихотворения.

У Тютчева, наоборот, поэзия была той психической средой, сквозь которую преломлялись сами собой лучи его мысли и проникали на свет Божий уже в виде поэтического представления. У него не то что мыслящая поэзия, — а поэтическая мысль; не чувство рассуждающее, мыслящее, — а мысль чувствующая и живая. От этого внешняя художественная форма не является у него надетой на мысль, как перчатка на руку, а срослась с нею, как покров кожи с телом, сотворена вместе и одновременно, одним процессом: это сама плоть мысли. Мы уже отчасти объяснили этот процесс, приводя выше стихотворение «Слезы». Вот еще пример:

Пошли, Господь, Свою отраду
 Тому, кто в летний жар и зной,
 Как бедный нищий мимо саду,
 Бредет по жаркой мостовой.
 Кто смотрит вскользь через ограду
 На тень деревьев, злак долин,
 На недоступную прохладу
 Роскошных, светлых луговин.
 Не для него гостеприимной
 Деревья сенью разрослись;
 Не для него, как облак дымный,
 Фонтан на воздухе повис.
 Лазурный грот, как из тумана,
 Напрасно взор его манит,

И пыль росистая фонтана
Его главы не освежит.
Пошли, Господь, Свою отраду
Тому, кто жизненной тропой,
Как бедный нищий мимо сада,
Бредет по знойной мостовой.

Здесь мысль стихотворения вся в аналогии этого образа нищего, смотрящего в жаркий летний день сквозь решетку роскошного прохладного сада, — с жизненным жребием людей-тружеников. Но эта аналогия почти не высказана, обозначена слегка, намеком, в двух словах в последней строфе, почти не замечаемых: *жизненной тропой*, а между тем она чувствуется с первого стиха. Образ нищего, вероятно, в самом деле встреченного Тютчевым, мгновенно осенил поэта сочувствием и — мыслью об этом сходстве. Мысль, вместе с чувством, проняла насквозь самый образ нищего, так что поэту достаточно было только воспроизвести в словах один этот внешний образ: он явился уже весь озаренный тем внутренним значением, которое ему дала душа поэта, и творит на читателя то же действие, которое испытал сам автор. Но если мысль здесь только чувствуется, а в некоторых стихотворениях как бы несколько заслоняется выдающеюся художественностью формы и самостоятельной красотой внешнего образа, то можно указать на другие стихотворения, где мысль не теряет своего самостоятельного значения и высказывается и в художественной форме и как мысль. Начнем опять с картин природы:

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный,
Как золотой ковер она свила,
Ковер, накинутый над бездной.
И как виденье, внешний мир ушел,
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и сумрачен и гол,
Лицом к лицу пред этой бездной темной.
И чудится давно минувшим сном
Теперь ему все светлое живое,
И в чуждом, неразгаданном ночном
Он узнает наследье роковое.

Нельзя лучше передать и осмыслить ощущение, производимое ночной тьмой. Та же мысль выразилась и в другом стихотворении:

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,

Покров наброшен златотканый
 Высокой волею богов.
 День — сей блистательный покров,
 День — земнородных оживленье,
 Души болящей исцеленье,
 Друг человеков и богов!
 Но меркнет день; настала ночь,
 Пришла — и с мира рокового
 Ткань благодатную покрыва
 Собрал, отбрасывает прочь.
 И бездна нам обнажена
 С своими страхами и мглами,
 И нет преград меж ей и нами:
 Вот отчего нам ночь страшна.

Но нам особенно нравятся следующие стихи:

О чем ты воешь, ветер ночной?
 О чем так сетуешь безумно?
 Что значит странный голос твой,
 То глухо-жалобный, то шумной?
 Понятным сердцу языком
 Твердишь о непонятной муке,
 И ноешь, и взрываешь в нем
 Порой неистовые звуки!
 О, страшных песен сих не пой
 Про древний хаос, про родимый!
 Как жадно мир души ночной
 Внимает повести любимой!
 Из смертной рвется он груди
 И с беспредельным жаждет слиться...
 О, бурь уснувших не буди:
 Под ними хаос шевелится!

Кажется, прочитав однажды это стихотворение, трудно будет не припомнить его всякой раз, как услышишь завыванье ночного ветра.

Сколько глубокой мысли в его «Весне»!.. Выпишем несколько строф:

Весна — она о вас не знает,
 О вас, о горе и о зле.
 Бессмертьем взор ея сияет
 И ни морщины на челе!
 Своим законам лишь послушна,
 В условный час слетает к нам
 Светла, блаженно-равнодушна,
 Как подобает божествам!

.....

Не о былом вздыхают розы,
 И соловей в тени поет, —
 Благоухающие слезы
 Не о былом Аврора льет,
 И страх кончины неизбежный
 Не светит с древа ни листа:
 Их жизнь, как океан безбрежный,
 Вся в настоящем разлита.
 Игра и жертва жизни частной,
 Приди ж, отвергни чувств обман
 И ринься, бодрый, самовластный,
 В сей животворный океан.
 Приди — струей его эфирной
 Омой страдальческую грудь
 И жизни божески-всемирной
 Хотя на миг причастен будь!

Приведем еще стихотворение: «Сон на море» — замечательное красотой формы и смелостью образов, которые могли быть созданы фантазией только мыслителя-художника.

И море и буря качали наш челн;
 Я сонный был предан всей прихоти волн,
 И две беспредельности были во мне,
 И мной своенравно играли оне.
 Кругом, как кимвалы, звучали скалы,
 И ветры свистели, и пели валы.
 Я в хаосе звуков летал оглушен,
 Над хаосом звуков носился мой сон:
 Болезненно-яркий, волшебнo-немой,
 Он веял легко над гремящею тьмой.
 В лучах огневицы развил он свой мир;
 Земля зеленела, светился эфир,
 Сады, лабиринты, чертоги, столпы,
 И чудился шорох несметной толпы.
 Я много узнал мне неведомых лиц,
 Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,
 По высям творенья я гордо шагал,
 И мир подо мною недвижно сиял.
 Сквозь слезы, как дикий волшебника вой,
 Лишь слышался грохот пучины морской,
 И в тихую область видения и снов
 Врывалася пена ревущих валов.

Таинственный мир снов часто приковывает к себе мысль поэта. Вот строфы, где самая стихия сна воплощается в образ почти так же неопределенный, как она сама, но сильно охватывающий душу:

Как океан объемлет шар земной,
 Земная жизнь кругом объята снами;
 Настанет ночь, и звучными волнами
 Стихия бьет о берег свой.
 То глас ее: он нудит нас и просит.
 Уж в пристани волшебный ожил челн...
 Прилив растет и быстро нас уносит
 В неизмеримость темных волн.
 Небесный свод, горящий славой звездной.
 Таинственно глядит из глубины,
 И мы плывем — пылающею бездной
 Со всех сторон окружены.

Но мы должны остановиться, — выписывать пришлось бы слишком много. Перейдем теперь к стихотворениям, где раскрывается для нас нравственно-философское созерцание поэта. Припомним сказанное нами выше, что его мыслящий дух никогда не отрешался от сознания своей человеческой ограниченности, но всегда отвергал самообожание человеческого я. Вот как это сознание выразилось в следующих двух стихотворениях:

ФОНТАН

Смотри, как облаком живым
 Фонтан сияющий клубится,
 Как пламенеет, как дробится
 Его на солнце влажный дым,
 Лучом поднявшись к небу, он
 Коснулся высоты заветной,
 И снова пылью огнецветной
 Ниспасть на землю осужден.
 О, нашей мысли водомет,
 О, водомет неистоцимый,
 Какой закон непостижимый
 Тебя стремится, тебя мятет?
 Как жадно к небу рвешься ты!
 Но длань незримо-роковая,
 Твой луч упорный преломляя,
 Свергает в брызгах с высоты!

А вот и другое:

Смотри, как на речном просторе,
 По склону вновь оживших вод,
 Во всеобъемлющее море
 За льдиной льдина вслед плывет.
 На солнце ль радужно блистая,
 Иль ночью, в поздней темноте,

Но все, неудержимо тая,
 Они плывут к одной мете.
 Все вместе, малые, большие.
 Утратив прежний образ свой,
 Все, безразличны как стихия,
 Сольются с бездной роковой.
 О, нашей мысли обольщенье,
 Ты, человеческое я,
 Не таково ль твое значенье,
 Не такова ль судьба твоя?

Нельзя не подивиться поэтическому процессу, умеющему воплощать в такие реальные, художественные образы мысль самого отвлеченного свойства.

В приведенных нами сейчас стихотворениях Тютчева, как и во всех, где выражается его внутренняя дума, не слышно торжественных, укрепляющих душу звуков. Напротив, в них слышится ноющая тоска, какая-то скорбная ирония. Но это тоска, хотя и подбитая скорбной иронией, вовсе не походила ни на хандру Евгения Онегина, отставного, пресыщенного удовольствиями «повесы», как называет его сам Пушкин; ни на байроновское *отрицание* идеалов; ни на разочарование человека, обманутого жизнью, как у Баратынского; ни на доходившее до трагизма *безочарование* Лермонтова (по прекрасному выражению Гоголя)⁵⁹: поэзия Лермонтова — это тоска души, болейшей от своей неспособности к очарованию, от своей собственной пустоты вследствие безверия и отсутствия идеалов. Напротив, тоска у Тютчева происходила именно от присутствия этих идеалов в его душе — при разладе с ними всей окружающей его действительности и при собственной личной немощи возвыситься до гармонического примирения воли с мыслью и до освещения разума верой: его ирония вызывается сознанием собственного своего и вообще человеческого бессилия, — несостоятельности горделивых попыток человеческого разума... Но от этих стихотворений, все же отрицательного характера, перейдем к тем, где задушевные нравственные убеждения поэта высказываются в положительной форме, где открываются нам его положительные духовные идеалы. Так, в его стихах «На смерть Жуковского» мы видим, как высоко ценит поэт цельный гармонический строй верующей души, побеждающий внутреннее раздвоение:

НА СМЕРТЬ ЖУКОВСКОГО⁶⁰

Я видел вечер твой; он был прекрасен,
 Последний раз прощаясь с тобой,

Я любовался им: и тих, и ясен,
 И весь насквозь проникнут теплотой.
 О, как они и грели, и сияли
 Твои, поэт, прощальные лучи!..
 А между тем заметно выступали
 Уж звезды первые в его ночи.
 В нем не было ни лжи, ни раздвоенья;
 Он все в себе мирил и совмещал.
 С каким радушием благоволенья
 Он были мне Омировы читал, —
 Цветущие и радужные были
 Младенческих, первоначальных лет!
 А звезды между тем на них сводили
 Таинственный и сумрачный свой свет.
 Поистине, как голубь, чист и цел
 Он духом был; — хоть мудрости змеиной
 Не презирал, понять ее умел, —
 Но веял в нем дух чисто-голубиный.
 И этою духовной чистотою
 Он возмужал, окреп и просветлел;
 Душа его возвысилась до строю:
 Он стройно жил, он стройно пел.
 И этот-то души высокий строй,
 Создавший жизнь его, проникший лиру,
 Как лучший плод, как лучший подвиг свой,
 Он завещал взволнованному миру.
 Поймет ли мир, оценит ли его?
 Достойны ль мы священного залога?
 Иль не про нас сказало божество:
 «Лишь сердцем чистые — те узрят Бога?»

Следующее стихотворение есть уже истинный вопль души, разумеющей болезнь и тоску века, — оно в то же время и исповедь самого поэта:

НАШ ВЕК

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
 И человек отчаянно тоскует.
 Он к свету рвется из ночной тени —
 И, свет обретши, ропщет и бунтует.
 Безверием палим и иссушен,
 Невыносимое он днесь выносит...
 И сознает свою погибель он,
 И жаждет веры... но о ней не просит.
 Не скажет век с молитвой и слезой,
 Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
 «Впусти меня! Я верю, Боже мой!
 Приди на помощь моему безверью!..»

Вот те *основные* нравственные тоны, которые слышатся у Тютчева сквозь все его философские, исторические, политические и поэтические думы. Они не благоприобретенное размышлением, не нажитое горьким опытом достояние; таясь в глубине его духа, они не только пережили искус долгого заграничного пребывания, но сильнее всего оградили независимость и самостоятельность его мышления в чужеземной среде, поддержали пламя беспредельной любви к России, сохранили духовную связь с родной землей и, как мы уже видели, воспитали в нем способность сочувственного разумения тех высоких нравственных сторон русской народности, которые в самой России постигались и ценились очень немногими. Стихотворения: «На смерть Жуковского» и «Наш век» объясняют нам уже приведенные прежде стихотворения: «Эти бедные селенья», «Тебе они готовят плен», равно и некоторые другие, — и взаимно объясняются ими. Мы, впрочем, не станем здесь ни выписывать, ни разбирать тех его поэтических произведений, которые посвящены России или выражают его политические убеждения и мечтания. Они отчасти уже нашли себе место в предшествовавшем отделе нашего очерка, где мы именно старались показать читателям рост и силу русской народной стихии в Тютчеве-европейце, — а некоторые будут помещены нами ниже, в пояснение его политических статей. Хотя этих стихотворений довольно много и иные из них высокого поэтического достоинства, однако же не ими определяется значение Тютчева как поэта с точки зрения эстетической критики. Скажем здесь несколько слов только об общем характере этих патриотических и политических стихотворений: в них (за исключением двух-трех) менее всего слышится его внутреннее, духовное раздвоение, его ирония, обращенная на самого себя, его нравственная тоска, а также и тот особенный личный процесс поэтического творчества, который налагает такую оригинальную печать на его поэзию и дает ей такую своеобразную прелесть. Его политическое мирозерцание, его убеждения относительно исторической будущности русского народа были, как мы уже знаем, тверды, цельны — до односторонности, до страстности, а потому только в этом отделе стихотворений и доходит он до торжественных, почти «героических» звуков, столько вообще чуждых его поэзии. Для примера укажем на следующие два стихотворения: «Море и утес» и «Рассвет», которые оба блещут поэтическими красотами, особенно последнее, но красотами несколько иного рода, выделяющими обе пьесы из общего строя его поэтических творений.

Пьеса «Море и утес» написана в 1848 году, после Февральской революции и, очевидно, изображает Россию, ее твердыню, среди разъяренных волн западноевропейских народов, которые, вместе с всеобщим мятежом, были внезапно объята и неистовою злобою на Россию. Ничто так не раздражало Тютчева, как угрозы и хулы на Русь со стороны иностранцев. Не знаем, обратили ли эти стихи внимание на себя в свое время и были ли поняты в смысле, нами объясненном (в 1848 году Тютчев еще продолжал ничего не печатать); но трудно сомневаться в их настоящем значении, особенно ввиду статьи «Россия и революция»:

И бунтует и клокочет,
Плещет, свищет и ревет,
И до звезд допрыгнуть хочет,
До незыблемых высот!
Ад ли, адская ли сила,
Под клокочущим котлом,
Огнь геенский разложила,
И пучину взворотила,
И поставила вверх дном?
Волн неистовых прибоем
Беспрерывно вал морской
С ревом, свистом, визгом, воем
Бьет в утес береговой...
Но спокойный и надменный,
Дурью волн не обуян,
Неподвижный, неизменный,
Мирозданью современный,
Ты стоишь, наш великан!
И озлобленные боем,
Как на приступ роковой,
Снова волны лезут с воем
На гранит громадный твой.
Но о камень неизменный
Бурный натиск преломив,
Вал отбрызнул, сокрушенный,
И клубится мутной пеной
Обессиленный порыв.
Стой же ты, утес могучий,
Обожди лишь час-другой;
Надоест волне гремячей
Воевать с твоей пятой!
Утомясь потехой злою,
Присмирееет вновь она,
И без вою, и без бою,
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна.

Относительно стремительности, силы, красоты стиха и богатства созвучий у Тютчева нет другого подобного стихотворения. Оно превосходно, но не в тютчевском роде. Оно свидетельствует только, что Тютчев мог бы, если бы хотел, щеголять и такими красивыми произведениями; но если бы его книжка стихов ограничивалась только такими пьесами, бесспорно сильными и звучными, то Тютчев как поэт лишился бы оригинальности и не занял бы того особого места, которое создала ему в нашей литературе менее громкая и торжественная его поэзия. Впрочем, даже самый выбор того или другого направления в поэзии был для него невозможен, потому что он не гонялся за успехом, а писал стихи ради удовлетворения внутренней личной потребности, почти произвольно; тем не менее самый талант его был способен, как оказывается, к разнообразному стихотворному строю.

Следующее стихотворение «Рассвет» написано 18 лет спустя и, несмотря на свой аллегорический характер, менее выделяется из поэзии Тютчева, чем «Море и утес», — отчего в «Рассвете» и более истинной художественной красоты. Здесь под образом восходящего солнца подразумевается пробуждение Востока, — чего Тютчев именно чаял в 1866 году, по случаю восстания кандиотов⁶¹; однако образ сам по себе так самостоятельно хорош, что, очевидно, если не перевесил аллегорию в душе поэта, то и не подчинился ей, а вылился свободно и независимо. Тем не менее и это стихотворение отличается от всех прочих произведений Тютчева своим положительно-торжественным внутренним строем:

Молчит сомнительно Восток,
 Повсюду чуткое молчанье...
 Что это? Сон иль ожиданье,
 И близок день или далек?
 Чуть-чуть белеет темя гор,
 Еще в тумане лес и доли,
 Спят города и дремлют селы,
 Но к небу подымите взор.
 Смотрите: полоса видна,
 И словно скрытной страстью рдея,
 Она все ярче, все живее —
 Вся разгорается она.
 Еще минута — и во всей
 Неизмеримости эфирной
 Раздастся благовест всемирный
 Победных солнечных лучей!⁶²

Сведем же все указанные нами черты поэзии Тютчева, характеризующие его как поэта. Он отличается прежде всего особым процессом поэтического творчества, до такой степени непосредственным и быстрым, что поэтические его творения являются на свет Божий, еще не успев остыть, еще сохраняя на себе теплый след рождения, еще трепеща внутренней жизнью души поэта. Оттого эта особенная, как бы не вещественная, как бы не отвердевшая красота наружной формы, насквозь проникнута мыслью и чувством; оттого эта искренность, эта неумышленная, но тем более привлекательная грация. Художественная зоркость и воздержанность в изображениях — особенно природы; пушкинская трезвость, точность и меткость эпитетов и вообще качественных определений; соразмерность внешнего гармонического строя с содержанием стихотворения; постоянная правда чувства и потому постоянная же некая серьезность основного звучащего тона; во всем и всюду дыхание мысли, глубокой, тонкой, оригинальной, по существу своему нередко отвлеченной, но всегда согретой сердцем и поэтически воплощенной в цельный, соответственный образ; такая же тонкость оттенков и переливов в области нравственных ощущений, — вообще тонкость резьбы, узорчатость чеканки — при совершенной простоте, естественности, свободе и, так сказать, произвольности поэтической работы. На всем печать изящного вкуса, многосторонней образованности, ума, возделанного знанием и размышлением, — легкая, игривая ирония, как улыбка, рядом с важностью дум, — и при всем том что-то скромное, нежное, смиренно-человечное, без малейшего отзвука тщеславия, гордости, жестокости, суетности, щегольства; ничего напоказ, ничего для виду, ничего предвзятого, заданного, деланного, сочиненного. Конечно, содержание его поэзии дается только его личным внутренним миром, не выходит из заветного круга близких, дорогих его сердцу вопросов, интересов, образов и впечатлений; он почти не имеет власти над своим вдохновением, почти не способен искусственно устремлять силы своего таланта по произволу, на предметы, чуждые его душе, — неспособен к художественному продолжительному труду, а потому не создал и не мог создать ни поэмы, ни драмы; он не проповедник, он не учит, он лишь выражает себя самого; его лиризм не укрепит и не вознесет духа... Но его стихи, хотя бы даже устарела их внешняя форма, не перестанут чаровать нестареющей прелестью поэзии и мысли; они плодотворно питают ум, захватывают все струны сердца, будят и просветляют Русское чувство. Они — неиссякаемый источник духовно-изящных на-

слаждений. В истории русской словесности Тютчев останется всегда одним из самых блестящих и своеобразных проявлений русского поэтического гения; его значение не померкнет.

Заклучим нашу характеристику следующими прекрасными строками из статьи о Тютчеве И. С. Тургенева, напечатанной двадцать лет тому назад, но нисколько не утратившей достоинства современности:

«Талант Тютчева, по самому свойству своему, не обращен к толпе и не от нее ждет отзыва и одобрения; для того, чтобы вполне оценить его, надо самому читателю быть одаренным некоторой тонкостью понимания, некоторой гибкостью мысли, не остававшейся слишком долго праздною. Фиалка своим запахом не разит на двадцать шагов кругом; надо приблизиться к ней, чтоб почувствовать ее благовоние. Мы не предсказываем популярности Тютчеву, но мы предсказываем ему глубокое и теплое сочувствие всех тех, кому дорога русская поэзия; а некоторые его стихотворения пройдут из конца в конец всю Россию и переживут многое в современной литературе, что теперь кажется долговечным и пользуется шумным успехом. Тютчев может (мог бы!) сказать себе, что он, по выражению одного поэта, создал речи, которым не суждено умереть, — а для истинного художника выше подобного сознания награды нет». <...>

1874

